

Иосиф Гальперин

**СЛОВАРНЫЙ
ЗАПАС**

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

Иосиф Гальперин
Словарный запас

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Гальперин И. Д.

Словарный запас / И. Д. Гальперин — «ЛитРес: Самиздат», 2019

ISBN 978-5-532-97992-5

Исповедальная проза, состоящая из повестей, очерков и эссе, включает несколько стихотворений, написанных в то время и в том состоянии, о которых идет речь в тексте. Вместе роман "нон-фикшн", отображающий личную жизнь и события, в которых пришлось участвовать автору, начиная с середины прошлого века. Автор – журналист-расследователь, лауреат премии Артема Боровика. Большинство составных частей текста печатались в России, Болгарии, Германии, Израиле и США . Очерк "Ветер, вей!" удостоен Чеховской премии, эссе "Краткая история присебачивания" - медали имени Ивана Вазова (Болгария). Содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-532-97992-5

© Гальперин И. Д., 2019
© ЛитРес: Самиздат, 2019

Содержание

Имя собственное	5
Страдательный залог	23
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Иосиф Гальперин

Словарный запас

Имя собственное

1

Отец всегда ходил быстро. Даже когда ближе к старости порвал «ахилл», играя в настольный теннис с недотепами из «СовБашки». Недотепами я называю теннисистов «Советской Башкирии» по тому поводу, что они не нашли лучшего способа свергнуть отца с пьедестала, чем гонять его по углам стола. Хотя его возраст, астма, преднизолон и три инфаркта представляли им более благородные возможности. Смешно, но его травма случилась тогда, когда начала зарастать моя, а я «ахилл» порвал, играя в футбол на снегу. И оперировали его там же, где меня – снова пригодился блат, высокое травматологическое положение моего школьного друга Аркашки. Отец походил с полгода в гипсе – и снова забегал, слегка прихрамывая.

А тогда, задолго до переезда в столицу многожды орденосной Башкирии, ему, конечно, хромать еще не надо было – в неполные-то двадцать пять, на войне его только контузило, а не изувечило ногу, как дяде Миرونу. С другой стороны, медленно в тот вечер не пройдешь по обледенелым чкаловским улицам, летишь по метели, как на салазках, чтобы не замерзнуть. Мимо лабазов, бараков, бывших особняков – к солидному корпусу Чкаловского пединститута. Не стоит партийному товарищу, вечному активисту не только истфака, но и всего вуза, опаздывать на торжественное заседание.

Вбежал, на ходу раздеваясь, – и сразу на сцену, где президиум. Выскочил и заявил: у меня сегодня родился сын! И в честь сегодняшнего праздника, годовщины Советской Армии, в честь вождя, который выступил с важнейшей речью на торжественном заседании в Москве, я называю своего первенца Иосиф!

Удружил. Мало ему было, что сам Давид Гальперин, так еще и сына библейским именем назвал. Хотя, уверен, ни о какой библии в тот момент он не вспоминал. И о процессах над космополитами не думал. Отец был умным, но не хитрым, на двойной счет не способным, недаром играл в стоклеточные шашки лучше, чем в шахматы. Сомневаюсь, впрочем, чтобы фронтовик, к двадцати годам два года отвоевавший и получивший медаль «За отвагу!», хотел 23 февраля 1950 года подлизаться к власти именем сына. Скорее, он всерьез считал себя частью пролетарского государства, и меня туда же вкладывал, закладывал, как карфагеняне – первенца в угол строящегося дома. А моя скептическая мама, от окна которой в роддоме он совершил марш-бросок до института, мама, носившая подходящее случаю имя Вера, думала в то время уже немного по-другому.

Во-первых, в отличие от отца, к последнему курсу уже разобравшего, что работать он будет в газете, она была историком по призванию. Даже археологом мечтала стать. И потом моей первой любимой книжкой она сделала «Героев Эллады». То есть на имена и прочее культурное наследие смотрела внимательнее. Жаль, конечно, что о выборе имени для первенца они заранее не договорились, по крайней мере, не решили, как об этом будут объявлять. И торжественный выпрыг отца на сцену перед президиумом она бы не одобрила.

Но то, что ее любимый двоюродный брат, с которым отец каждый выходной играл в шахматы, носит имя Иосиф, он, разумеется, помнил. Как и о том, что деда материного так же звали, и еще одного двоюродного брата, жившего под Киевом, и еще одного, пропавшего в войну –

осталась только карточка с трофейным мотоциклом. Получается, даже если она была заранее согласна, ее выбор был продиктован другими соображениями. Имя, на самом деле, ложилось в строку семейной летописи, а подавалось – как в строку государственных дел. Скорее всего (зная ее склонность к «суевериям», как это определялось в партийно-комсомольской среде), она понадеялась на приметы. Все ее Иосифы были здоровы, курчавы и любимы женщинами. Спасибо за доверие!

Если же попытаться как можно дотошнее разобраться в картинном жесте отца и скрытом желании матери, то стоит вспомнить об отягощениях. Ситуацию, кроме прочего в стране, осложняла тяжелая беременность моей долго недождавшей матери, на свет я появился недоношенным, семимесячным. Через неполные восемь месяцев после свадьбы... О чем это может говорить? Строгие правила? Пуританские нравы? Скорее, мама до последнего, а «дружили» они до того года два, проверяла чувства матерого фронтовика – старше ее на целых три года! – и любимца институтских девушек...

Все сошло относительно удачно благодаря присутствию чкаловского главакушера Айзенштадта, кумира гарнизонных жен. Он, спешно вызванный маминым отцом – будущим дедушкой, не успел даже руки помыть, так и стоял в дверях, давая рекомендации «терпеть!», когда маме без наркоза накладывали двадцать швов.

Так что, по идее, не должен был я родиться 23 февраля под аккомпанемент речи Сталина, совпадение достаточно случайное и справедливо могло вызвать у отца смутное чувство благодарности к чему-то большому, что помогло появиться на свет его сыну. А в бога он тогда не верил.

Таким длинным предисловием я пытаюсь объяснить свои два, один за другим, появления на свет. Первое, физическое – в зимние сумерки, под лампами чкаловского роддома и наблюдением доктора Айзенштадта. И второе, спустя некоторое время – в виде имени на свету торжественного заседания, имени, которое поначалу не имело ко мне ни малейшего отношения.

Я вообще думаю (это и заставило меня сесть за компьютер): человек заполняет свое имя не сразу, поначалу абстрактное, наполненное только фонетически, связанное ходульными ассоциациями со всей накопившейся шелухой человечества. Это уже потом оказывается, что за абстракциями стоят древнейшие связи, когда события и поступки твоей маленькой жизни возвращают шелухе цветение плоти, когда банальности приобретают привкус вечных истин. Процесс заполнения, впрочем, зависит и от имени, и от назвавших, и от принятия человеком на себя обязательств перед словом, на которое он откликается. Мне повезло – пространство, которое предстояло заполнить, было далеко не тесным, можно было выбирать стадии и скорость наполнения. На всю жизнь хватило.

2

На самом деле в паспорте у меня неправда написана. По каким-то таинственным причинам органы оказались снисходительными к неточности. В паспорте написано, что родился я в городе Оренбурге. А я родился в Чкалове, как мизерную часть своей истории назывался Оренбург. Конечно, «Чкалов» – так никто произнести не может, если привык по-русски разговаривать, а не по бумаге. Так что родился я в Чикалове. Это летчик такой был, еще до войны, ему памятник поставили на набережной, спиной к мосту и Зауральской роще. Сам Чкалов в Оренбурге никогда не был, а получил город его имя только потому, что во время войны в эти степи были эвакуированы два летных училища. «Чкалов» – это был как бы символ сталинских соколов, не называть же было город «Сталиносокольск», а Оренбургом оставить было нельзя – никак не годилось название с его четким немецким привкусом в годину борьбы с немцами. Хотя почему-то имя большевика Цвиллинга оставалось на уличных табличках во все времена.

Одно училище готовило летчиков-истребителей, а второе – зенитчиков, позже – ракетчиков. Летчики были все невысокие, ладные, ходили, как танцевали. В сквере у Дома Советов или в другом, где цементные, крашенные зеленым лягушки пускали струйки в фонтан, летчики знакомились с лучшими девушками Чкалова. Спустя много лет я готов был под честное пионерское доказывать уфимским одноклассникам, что вживую, не на газетном фото, видел одного из них с этой вот красивой улыбкой (и с красивой девушкой). Конечно, ведь Юрий Гагарин – это же мой земляк! Училище имени Ивана Полбина – так называлось ЧВВАУ-1, потом, раз уж специализировались на маленьких курсантах, оно перешло на подготовку морских летчиков. (А они не должны быть большими – катапульты не выдержат веса, и для космических кораблей удобнее). Тех самых летчиков, которые должны были стать грозой американских авианосцев. Не стали. Училище закрыли уже в послесоветское время.

Город переименовали еще раньше. Решили, что одного Чкаловска, бывшего саратовского Вольска, хватит на славу довоенного героя, а в Вольске он, по крайней мере, родился. Хотя, может быть, переименование было как-то связано с его полетом в Америку, проторившим путь «ленд-лизу». По крайней мере, город сменил собственное имя опять на пугачевско-гриневское как раз тогда, когда с его улиц исчезли «студебекеры» с квадратными передними крыльями и «шевроле» – с круглыми.

Мы еще побегали по чкаловским пыльным мостовым за серебряным шильцем в небе с криками: «Ястребок!». Серебряная пулька в небе, тащившая за собой перистый хвост, – это были сначала МиГ-9, а потом МиГ-15, помнится, один из них даже по улице провезли на прицепе. Очевидно, во время маневров – тогда много другой техники прошло по городу. А был он центром военного округа, и маневры были одним из его главных дел. Отец к тому времени уже перешел из молодежной газеты «Комсомольское племя» (правда, смешно?) в окружное «Боевое знамя», как бы на повышение пошел. Даже не странно, что имена газет были образованы такими обобщенно-призывными словами, как «племя» и «знамя», – газета ведь должна была объединять и вести за собой! Отца послали на большие маневры в Тоцкое, где атомную бомбу ради Жукова взрывали. Привез фото, на котором он настоящий танк заводит ручкой (нынешние счастливые автомобилисты и не знают такой металлической тяжелой загогулины), как какой-нибудь «ЗиС». А меня с собой на маневры не взял, как я ни просился.

Зато раньше брал на целину, наверное, когда еще в «Племени» служил. Мне всегда казалось, это был знаменитый Адамовский район, где потом «Солдата Ивана Бровкина на целине» снимали. Может, и не одна была поездка, потому что помню два разных пейзажа: метель, стужу за окном трехтонки – и осеннюю кузницу на голой земле, с ночным заревом и волшебным волосатым кузнецом, который молотом на длинной ручке бил по красной железке. Зачем он меня возил, как мать разрешила – не понятно. Большое ей за это навсегда спасибо.

Я думаю, та его поездка на целину была не за заметкой какой-нибудь, а за очерком. Отец считал их своим высшим достижением в журналистике, а мать, читавшая «Новый мир» и прочую прогрессивную литературу, относилась к газетным очеркам с предубеждением. Долгие годы она вспоминала отцу фразу, которую он ради оживления материала вставил в очерк. Механизатор приходит с поля в дом и говорит жене: «Пельмени, мать!» – как в столовке заказывает. Эти слова стали в нашей семье символом псевдонародности, плохой журналистики, которая пыталась играть на чужом, литературном поле.

Но по-настоящему отец гордился не очерками, а фельетонами. Тоже почти художественный жанр, только несладкий. Один из его фельетонов, как раз в последний приступ сталинских репрессий – в 1952 году, когда всех евреев за врачебное вредительство уже вроде бы собирались в лагеря отправить, привел к конфликту с местной конторой МГБ. Отец написал о каком-то преподавателе заочного юридического института, который брал со своих великовозрастных студентов взятки. А среди студентов, двигавшихся перебежками к заветному «ромбику», были и младшие, пока, офицеры госбезопасности. Они уже начинали копать под отца

(и под нашу семью, соответственно), когда внезапно после смерти Сталина очередной острый приступ государственного антисемитизма сошел на нет.

Но все равно без последствий эта история не осталась. В ходе ее расследования выяснилось, что у нас – неправильная фамилия. Не те мы Гальперины, за кого себя выдаем. Бережанские мы, в общем (фу, какой суффикс неприятный!).

Дело в том, что спустя много лет после войны, в начале которой Додик Гальперин вместе со своей мамой бежал из Одессы под «Юнкерсами», отец решил навестить родной город. Посмотреть, сможет ли он там жить после всего (включая предательство дворового пацана, выдавшего немцам еврейскую семью). Выяснилось, что город раны залечил, об уехавших забыл, работы там маловато для тех, кто носит почти неприличные фамилии. К тому же после туберкулеза, пережитого в 17 лет в военном училище и изгнанного сурочьем жиром, отца настигла родовая астма. Настигла прямо в поезде уже на обратном пути, так что о фундаментальном возвращении к пенатам нечего было и думать – морской климат Одессы, мучивший кроме бабушки и поэта Багрицкого еще тысячи людей, никак не подходил астматикам.

В общем, с родным городом пришлось прощаться (хотя на любом домашнем сборище папа запевал, не подражая утесовской хрипотце: «Есть город, который...») Если, конечно, мама не успевала прервать – она была уверена в отсутствии папиного музыкального слуха). Но до этого – на одесском пляже перед отъездом – отец легкомысленно оставил под наблюдение малолетней родственницы костюм. И его украли вместе с документами. Пришлось и новый паспорт выправлять, и новый партийный билет.

И вот тогда, идя по следам семьи, органы обнаружили, что в местечке под Уманью, откуда Гальперины вышли, их было некое множество. Чтобы различать одних Гальпериных от остальных, тех, кто жил через местечковую реку, называли Бережанскими. Прозвище такое было. Строгие органы, к тому же обиженные за своих офицеров-взяточников, решили ввести его в фамилию. Стал отец Гальпериним-Бережанским, правда ненадолго, до ближайшего планового обмена паспортов.

Но попутно выяснилось, что Шмуль Хаймович Гальперин, его отец, а мой дед, в паспорте записан Самуилом Ефимовичем. Тогда как в отцовских документах отчество отца пишется как «Самойлович». А их не поменяешь – у отца, кроме паспорта, еще и партбилет был. И бедного деда заставили менять имя: написали в паспорте нечто казацкое – «Самойло»!

3

Мне, конечно, в то время было не до дедовского или отцовского паспорта, меня волновала самоидентификация. Не помню, чтобы я себя Иосифом считал, только вот мамино «Оська-барбоська» обижало сильно. Если бы был юридически правомочным лицом, обязательно сменил бы имя! Я вообще был очень обидчивым, первое, что помню: на Новый 1954 год (установил по карточке) меня нарядили каким-то белым клоуном. А я хотел зайцем! Расстраивался несколько лет, готовясь к очередному новогоднему карнавалу в детсаду, растревая память. Еще переживал, что куда-то исчез мой первый друг – кот по имени Кот, большой и рыжий, который позволял мои тисканья и даже катания верхом. А зимой в первом троллейбусе, который ходил от вокзала, меня какая-то тетка назвала девочкой. Я отвернулся к окошку и зашипел, а сопровождающая меня бабушка принялась объяснять, что я вообще-то мальчик, просто золотокудрый и глаза синие. Я зашипел и в ее адрес: нашла, чем хвастаться!

Но скорее всего, я не за прозвище обижался на маму. За смену приоритетов. Она была, в свои двадцать с небольшим, роскошной матерью: внимательной, самоотверженной (работала на полставки, рискуя карьерой, чтобы больше уделять времени детям), страстной. Это-то ей и мешало, мучило. Тем более, что потрясения навалились разом. В течение полутора лет она

потеряла дочку Иду, вскоре после родов погубленную врожденными пороками. Потом, вслед за смертью Сталина, которую она переживала вместе с большинством народа как переход к неизвестному будущему, она узнала о смерти своего отца (от «грудной жабы») в Киеве, и родила дочку Леночку. Пока Лена не родилась (мама решилась сразу после смерти Иды), ей жить не хотелось, а потом она стала за нее бояться. Сначала все мамины страстные плюсы были на одного меня обращены, потом, естественно, «барбоська» отошел на второй план.

Честно говоря, мои обиды и страхи чаще всего были просто выдуманы мной, а иногда и вовсе не имели внешней причины. Как-то зимой, болея, я лежал на родительской кровати и играл с любимой целлулоидной обезьянкой. Такая бежевая, похожа на человечка. Я крутил ее лапки, а они были на резинках, невидимых мне в ее туловище, и смеялся, когда резинка, закрутившись, потом заставляла лапку вращаться обратно уже без моих рук, как пропеллер. И перекрутил! Резинка лопнула, лапка отлетела, как пропеллер от самолета, – и я увидел, что у обезьянки внутри: переплетение резинок. Лапку я потом пытался приладить, боясь совершенного, потом ее куда-то задевал.

Я не то чтобы боялся наказания мамы или папы, я понял, что что-то нарушил – и это непоправимо. Непоправимости я и испугался. И запомнил сломанную обезьянку лучше, чем смерть маленькой сестры. А может быть, меня на те дни увели из дома. Тройродная сестра Света (дочь того самого любимого мамой брата Иосифа) рассказала полвека спустя, что Ида прожила все несколько недель своей жизни с ножкой, неестественно приставленной к туловищу. Лапка...

Думаю, что Еленой (Прекрасной) мама назвала вторую дочь по примеру относительно удачного проекта с моим именем. Мать до конца дней своих была атеисткой, в Библии видела один из сборников сказок (сказки рассказывала длинные, разных народов, из книги, которую ни я, ни Лена потом никогда не видели, до сих пор помню восточную про «Занги-Заранги»), но так страстно вникала в художественные подробности, что верила в приметы счастливых имен, Иосиф для нее был Прекрасный (я потом купил два комплекта манновского романа – себе и маме. На романе, думаю, и окончательно принял имя, как судьбу). Идой звали ее мать, мою родную бабушку, которая умерла во время войны от долгого, еще довоенного, рака. Несчастье не позволило остаться на земле внучке с ее именем.

Дед чуть не сразу женился на своей тоже довоенной подруге Мирре Марковне. А мама поехала в Киев, учиться на архитектора, но тамошняя жизнь и учеба в желанном институте ей не понравилась и она вернулась в Чкалов. А дед и Мирра Марковна уехали в Киев, оставив комнату в барачном полуподвале молодым. И так получилось, что в один год далеко от нее умер горячо любимый отец, Гдаль Арье-Лейбович (Львович – по паспорту) Трипольский, перед смертью успевший навестить оренбургскую семью (когда я его и запомнил), и произошла трагическая смена дочерей и их имен.

Вот я и получил право на временную дворовую свободу. В нашем Телеграфном переулке было два барака, где жили эвакуированные. Мы жили в дальней от центральной улицы Кирова постройке, зато в ее самом близком к Главпочтамту полуподвале, рядом с проходом между бараками. Напротив тянулись огромные ворота военных складов, от которых круглый год пахло тухлой селедкой. Пятьдесят лет спустя я нашел эти бараки по запаху со складов, которые выходят торцом в другой переулок, кокетливо названный Рыбным. Зимой у складских ворот, положив самокрутки на бочку, хлопали рукавицами огромные сторожа в тулупах и с берданками, а весной, когда они превращались в обыкновенных солдат, посередине переулка разливалась глубочайшая лужа, называемая Телеграфным морем.

Летом берега этого моря и были моими пиратскими владениями. В одних трусах и кудрях во главе ватаги старших девчонок и младших мальчишек я обходил вокруг наших барачков. Не всегда наши походы были безобидны. Как-то бежали мы вприпрыжку (кто был впереди?) за стариком в черной долгополой одежде и черной ермолке, крича непонятно почему (мне. А

другим?): «Жид-жид-жид-жид, по веревочке бежит, а веревка лопнула и жида прихлопнула!». Веревка лопнула давно, еще в 39-м году, с тех пор дед Хиздо все бежал из своей Польши, слушая понятные по общей тональности крики разноречивых ребятишек и взрослых. Добежал он до второго этажа нашего барака, где его жизнь и прихлопнула. Под мой идиотский комментарий.

Скорее всего, я бывал в его комнате в нашем бараке, возможно, даже дружил с его внуком, если (не помню) именно его звали Илья. А может быть, и не в его комнате – семья-то Хиздо была такая разветвленная, что могла занимать две двери в коридоре. Я вообще любил ходить по комнатам, особенно – по более богатым. Нет, не завидовал – искал впечатлений. Бывал и у кассирши открытого кинотеатра, благодаря которой впервые заинтересовался зеркалом. У нее был длинный грустный нос одинокой послевоенной еврейки, она его часто пудрила, поэтому смотрела в зеркало. А на первом этаже лидерами моего внимания были Энна Соломоновна с мужем, у которых был настоящий ковер, и тетя Поля с сыном Ваней. На тетю Полю, жившую напротив нашей комнаты, мама оставляла меня, уходя по своим трудным болезненным делам. Ее теплота осталась в моем отношении к русским женщинам.

А вот Ваня, вернувшийся со срочной службы, в детстве был для меня героем романтической трагедии. Из-за него отравилась уксусной эссенцией красивая горбунья, жившая в соседнем бараке. До сих пор помню коробочку с пудрой («Кармен», кажется), которая осталась лежать на низком, если смотреть с улицы, таком же, как у нас, полуподвальном подоконнике. Осталась, хотя Маруся отравилась... Он, вроде бы, уличил ее в измене. Или упрекнул прошлыми, пока он служил (а служили тогда долго...), связями. Или сам изменил – пятилетнему пацану не все объясняли, да и не все объяснишь.

Не объясняли, но многое, зато, показывали. Что скроешь в бараке! Соседские девчонки подвели меня к своей двери и приглашали поглядеть в замочную скважину – чем мама с «папой» (папы у всех детишек в этой семье были разные) занимаются. А потом эти же девчонки повели всю команду за сараи, построили в два круга: девочки снаружи, мальчики – внутри. И приказали снять трусики. Помню, долго отказывался. Как раз до того момента, пока сверху не прозвучал громовый голос случайно заглянувшего взрослого: «Вы что тут делаете?!». Что делали? Росли.

Говоря о росте личности внутри имени, я не сказал о другом, перпендикулярном процессе. О привыкании к нему, освоении, признании его своим. Сначала мешала экзотичность – по сравнению с окружающим, дворовым. До зрелости любой Вася, Петя, Ваня казался более естественным, более привязанным к действительности, чем я. А потом и Фарид, Рамиль, даже Фягим – но еще и с оттенком общей с ними некоторой отдельности, примыкания, коалиции слабых, сплоченности меньшинств. Антисемитизм воспринимался более абстрактно, чем это мгновенное ощущение, которое возникало при назывании меня по имени любым посторонним человеком.

Хотя, конечно, естественный радиоактивный фон антисемитизма сказывался и на отношении к имени. Ксенофобски подстраиваясь к среде, я себя воспринимал таким же, как любые все. Только с чужеродным именем. Возможно, еще и потому, что среди моих героев поначалу вовсе не было евреев. Были герои Эллады – Геракл, Язон, Антей. Только потом я сообразил, что и отец, и дядя Йосик, и дядя Мирон не только воевали, как все знакомые мне взрослые, но и имеют особый счет к Гитлеру. Как и мама, вспоминая своих одноклассников, polegших в Бабьем Яру. И уже потом найденная среди рухляди книга о героях восстания в Варшавском гетто, книга, пылившаяся в стороне от остальных, потому что была запрещена вскоре после издания, заставила меня хоть немного гордиться своей принадлежностью к евреям. Впрочем, само слово это долго казалось оскорбительным. Как «жид».

Может быть, дело не только в окружающей атмосфере переулка, где были перемешаны бывшие беженцы из Польши, не говорившие по-русски, эвакуированные вполне советские люди подозрительной (в ту пору – особенно) национальности и офицерские семьи соседних домов. Армия у нас и тогда, после войны, временно ее сплотившей, была школой давления сильных на слабых, большинства на меньшинство, старших (по возрасту, по званию, по зарплате) на младших. И это сказывалось в отношениях вольнонаемного журналиста с офицерами в газете, оборванца-мальчишки с ухоженными (по тем временам, когда белые бурки – в общем-то, валенки – казались предметом роскоши) детьми, за которыми приглядывали безработные горластые офицерские жены.

Мне казалось стыдным выделяться из общей массы еще и потому, что я так чувствовал всеобщее братство. Мои родители ощущали себя внутри не национальной, а интернациональной культуры (а я – интернациональной нищеты равенства). Насколько это возможно за тогда еще крепким «железным занавесом» – мировой. Наверное, только-еврейство напоминало им насильное соединение в гетто. К чему это приводит, они совсем недавно видели. Или напоминало черту оседлости, легшую на память их родителей. И которая, сохранившись она без революции, обрекла бы их и их детей на менее интересную и интенсивную жизнь. Так они думали, так мама говорила нам.

Даже имя свое моя мама получила в противоречие с традицией. Ее бабушка была Двойрой, в ее честь и маму называли, но записали Верой – рабфаковцы и студенты, круг ее родителей, думали по-русски о всемирном братстве. Как и бабушка, папина мама, которая была Песя, а звалась Полиной. В школе ученики называли маму (в любой школе, где работала, она была любима не только как лучший историк) Верой Геннадьевной, в молодости лишь допущенные близко звали ее Гдальевной. А мне ужасно нравилось ее имя Вера, оно попадало в сопряжение с ее консервативностью, честностью, прямоотой (и острым языком) и надежностью, невозможностью предательства. Поэтому позднее я был вдвойне рад, что именины матери совпали с именинами (и близостью образа) жены – Любови...

Возвращаясь к мировой культуре, обязан сказать, что гимназист Гдаль Трипольский, чудом уцелевший от знаменитого деникинского погрома в родной Белой Церкви, после прихода красных был мобилизован в армию и в обозе чапаевской (уже без Чапаева) дивизии дошел до Польши. И после гражданской, как демобилизованный боец, несмотря на мелкобуржуазное происхождение, был принят в Киевский институт восточных языков. Получил шанс продолжить после гимназии приобщение к мировой культуре. Но до диплома не доучился. Мама потом как-то заглянула в его трудовую книжку – десятки записей.

Наверное, я от него унаследовал легкое отношение к месту работы при умении уходить, не ссорясь. Он всегда был душой компании, любимцем женщин, но никогда не страдал постыжностью. Какие у него были фундаментальные знания и таланты, я не знаю, но не встречал человека, не признававшего его интеллигентности. То, что он одно время был снабженцем кондитерской фабрики, позже спасло семью от украинского голодомора начала тридцатых (на фабрике выдавали шоколадный лом). Дед Гдаль был атеистом, как все в том кружке киевской технической молодежи, совсем забыл о своем происхождении, а ведь даже сама его фамилия указывала, что он из рода Трипольских цадиков – духовных вождей хасидской общины.

Триполье – такое большое село под Киевом, где археологи раскопали неолитические поселения далеких тысячелетий. Сейчас сторонники украинской самостийности выводят из этой трипольской культуры истоки украинской нации, потихонечку в музей и на раскопки начинается паломничество. Раньше, до раскопок, ходили евреи – поклониться могиле моего предка. А потом, в гражданскую, там вырезали комсомольскую организацию. То ли белые,

то ли петлюровцы. Историю с предшественниками «Молодой гвардии» назвали Трипольской трагедией. Отец, снижая накал маминых претензий по поводу всегдашних поздних приходо-в с работы, говорил: «Трипольская, ты – трагедия!». Мама фамилии не сменила, как и все женщины в нашей семье.

Временно вернувшись из эвакуации, мама жила на попечении сестер отца Сони и Ханы, но из теток заработок имела лишь служившая в аптеке Соня, на одну рабочую карточку троим было голодно. Из разрушенного Киева мама ездила в поселок Буча, рядом. Вместе с родственниками своей родной матери работала в совхозе, вместе с подружками заглядывала в церковь и пела украинские песни. В свои семнадцать лет из-за войны, бездомья, долгой болезни и смерти матери она оказалась оторванной от бытовой родовой культуры. Уже потом, опять в Оренбурге, научилась у эвакуированных знакомых, сестер Евгении Самойловны и Марии Самойловны, готовить по-еврейски.

Украинские борщи, белорусские драники и русские оладьи встречались на нашем столе чаще, чем фаршированная щука или кисло-сладкое жаркое – любимое мною блюдо бабушки Полины Давидовны. Разве что пристрастие к куриному бульону выдавало в матери еврейскую хозяйку. Бульон варился, правда, не из курицы. Из потрошка, купленного для меня, когда я стал часто болеть, на рынке за копейки. А уж если покупали в дни денежных удач целую курицу, то готовили «шейку» – фаршировали шкурку мукой и шкварками, зашивали суровой ниткой и бросали в бульон. Это даже я умею.

Идеальной хозяйкой мне казалась мачеха матери, Мирра Марковна, которую я считал и называл киевской бабушкой. Ее вареники с вишнями и жаркое из лисичек в оренбургских воспоминаниях о киевском лете представлялись мне верхом возможного. А ведь еще была ножная швейная машинка «Зингер», сидя за которой бабушка строчила платья маме и брюки – клиентам. Я тогда не понимал, что «Зингер» этот спас ей жизнь. И дело не только в деньгах на прокорм. Потом-то у нее была неплохая пенсия старой большевички.

Она вступила в партию в мае 1917-го, была на «ты» со всеми украинскими вождями: Постышевым, Артемом, Косиором. Но перед войной, когда их, как пену с варенья, сняли сталинской шумовкой, она уцелела. Потому что после бурной гражданской войны, когда ей довелось, работая в екатеринославском подполье, открывать проход воинству союзного красным Махно (этот эпизод даже воплощен в кино «Александр Пархоменко», помните, в котором Раневская – в другом, не бабушкином эпизоде – с папиросой поет? Бабушка, кстати, тоже курила), она перешла на мирные рельсы. Руководила швейным профсоюзом. На пике репрессий погибли два ее брата, одного просто расстреляли, другой, журналист, решил отстреливаться, когда за ним пришли. А она просто ушла с руководящего поста – шить. Чтобы жить. И «Зингер» уберег ее от Сталина, в ее продукции оказались заинтересованы те, кто запросто мог отправить ее вслед за братьями. Хотя, может быть, дело в том, что те старики, кого я встречал в ее доме много лет спустя, накануне войны не назвали ее имени на допросах – сберегли общую любимицу, не взяли ее с собой в лагерь.

Сейчас она для меня – загадка. Что она на самом деле думала, слушая речи молодых спустя пару месяцев после XX съезда, глядя своими серыми глазами поверх очков на неродного внука, похожего на любимого умершего мужа? Помню только ее присказку, повторяющуюся после моей очередной шкоды: «О ты турок...». Я вообще не могу подробно говорить о переживаниях реальных людей, которых видел в раннем, направленном в основном на себя, детстве. Поэтому многих только называю, или перечисляю факты их биографии, которые хоть что-то помогают мне объяснить во мне.

Но есть одно переживание, о котором говорила сама мама. Правда, не мне, а сестре, спустя почти сорок лет. Когда она в 56-м году вернулась после летних киевских каникул в свой полуподвал, то увидела свежепокрашенный пол! Пока мы все были дома, с ремонтом не получалось: некуда было даже временно переехать. А стены, особенно выходящие на угол

дома, были покрыты изморозью, с ней и печка не справлялась. А некрашенный пол приходилось скоблить, а не мыть. И вот отец в наше отсутствие исполнил ее маленькую мечту. Он стоял, окруженный сиянием свежего света, наведенного им собственноручно, и блестели его черные прямые волосы, зачесанные назад, и блестели стекла в черной круглой оправе!..

5

Я хорошо запомнил 56-й год. Нет, не из-за съезда партии, а поездку в Киев, да и вообще время пришло что-то закладывать в память. Вырос. А тут как раз пошли всякие события. Во-первых, переехали в другую, гораздо более комфортную коммуналку – на соседней улице, на второй этаж, напротив почтамта. Там даже уборная была на этаже, а не во дворе, и стойки для ног вокруг дырок в полу для этого самого дела не деревянные, а железные! И печка в комнате – не чета прежней, а круглая, обшитая железом.

Только недавно Лена рассказала со слов матери, что деньги на такой неравноценный обмен дала Мирра Марковна. Она своим «Зингером» заработала на хороший памятник деду, хотела хоть как-то снять ту боль, которая загнала ее после его смерти в нервную клинику. А потом подумала – и на киевском Байковом кладбище поставила памятник чуть скромнее, около него я ее потом и сфотографировал. Разницу между памятниками в деньгах она отправила маме.

Во-вторых, меня послали в летний лагерь от военного детсада. Сад я не любил, особенно когда меня оставляли на круглосуточную вахту, забирали только на воскресенье, тогда выходной день был один в неделе. До сих пор не простил ночную нянечку, которая, видите ли, накричала на меня, когда я, прыгая на брезентовой раскладушке, натянутой на деревянные козлы (наши детские кровати тоже принадлежали военному ведомству) порвал ее и провалился к деревянным устоям. После чего меня на ночь больше не оставляли, да и вообще редко водили – когда был здоров.

А вот в лагере я отличился крупнее. К тому времени я уже и гвоздь в стопу принимал, и ангинами болел, и воспалением легких, и корью. И скарлатиной, и коклюшем. Но в 56-м году на СССР накатил первый вал вирусного гриппа, позже называвшегося «гонконгским». Как же было его не принять на свою грудь, ослабленную полуподвалом – с инеем по углам! Только вот получилось не просто, а сюжетно.

Я влюбился в Элли – дочку лагерного врача-майора. Она вроде бы и не смотрела на меня из песочницы, но ее светло-карие глаза были такими выпуклыми, что видели и сбоку, сквозь щеточки ресниц... Конечно, я и близко к ней не подходил. Издалека чувствовал. Наверное, и она флюиды воспринимала. А еще я почувствовал, что знакомый мне по городу Борька тоже к Элли неравнодушен. Почему-то мне казалось, что у меня больше прав на внимание к Элочке. По этому поводу мы с ним почти с остервенением стали делить какое-то найденное бревнышко, этакую мини-оглоблю. Зачем она нам нужна была – не помню. Зато помню, как Борька, почуввав, что я вырываю оглоблю из его рук, дернул палку – и я получил перелом носа. Глаз заплыл, пару дней маме не могли обещать, что я буду им видеть.

А потом началась какая-то горячка, в изоляторе мне намеряли температуру за 40 – с меня в лагере началась та знаменитая эпидемия. И врач, Элочкин отец, вызвал отца моего. На армейском санитарном фургоне (как я был горд сквозь температуру этой поездкой на высокой, с большими колесами, машине!) меня увезли в город, маме на руки. Повезло, остался жив – в лагерном изоляторе несколько детей умерло.

С тех пор, кстати, я почти не влюблялся в евреек. Только в восьмом уже классе, в каникулы, тоже заметил девочку с густыми ресницами, ходил и повторял: «Я идолопоклонник, я поклоняюсь Иде...», одни из первых моих любовных стихов. Даже дома один раз у нее был,

что и заставило быстро разочароваться – атмосфера не понравилась. И совсем не думал, что мою родную бабушку звали Ида. И мою первую сестру. А позже, глядя на страстную шумность нашей домашней жизни, дал себе клятву, что никогда не женюсь на еврейке.

Конечно, маленький ребенок в семье больше общается с женщинами. И перенимает их взгляд на распределение семейных обязанностей, на ценность тех или иных трудовых свершений, принимает их сторону в мелких семейных конфликтах, их глазами определяет – мелкие они или нет. Я видел тяжкие хлопоты мамы и бабушки в коммунальных квартирах без удобств, поэтому их призывы о помощи к папе и дедушке были для меня весомее оправданий занимавшихся чем-то вне дома мужчин (даже если они считали нужным оправдываться).

Но само обилие претензий, их, не имевшее развития ежедневное повторение, неожиданно заставило ощутить покушение на свободу. Привели к мужской солидарности, тем более, что претензии появились и ко мне. Моя лень, шкодливость и упрямство (Ленка дразнила, переделывая детский стишок: «Осик был сегодня зол, он узнал, что он осел») и открытая эмоциональность мамы не могли не столкнуться. Пару раз мне перепадало и венником. Правда, позднее я заметил и в дальнейшем применял сознательно один обезоруживавший прием: надо было, зная повод для гнева, успеть сострить. По делу, а не абстрактно, взглянуть на ситуацию со стороны, как бы показать свою объективность (и независимость от собственного дурного поступка). Вот тогда складки на лбу разглаживались, мама фыркала, глаза снова сияли, она крутила головой, смеясь.

Ежедневные громкие голоса заставили меня присмотреться к отношениям в соседских семьях, где жены были менее эмансипированы или более сдержанны. Или не так последовательны и безупречны сами. И побудили сделать выводы. Я понял (на бессловесном тогда уровне), что любая культура не переборет врожденного темперамента, что мой темперамент – такой же, как у мамы. Значит, та, кого я буду видеть рядом всю совместную жизнь, должна быть в корне другой. Впрочем, такие нонконформистские ощущения появились у меня гораздо позже 56-го освободительного года, а тогда я был счастлив, что благодаря «Гонконгу» вновь оказался в центре всепоглощающего внимания мамы.

Даже папа на нее за это обижался. Как-то, возвращаясь поздно с очередного успешного шашечного турнира с выигранным подстаканником в бархатном футляре (а он на провинциальном уровне играл очень хорошо, был чемпионом и республик, и областей), отец на кураже спешил и маму порадовать. Но входная дверь в двухэтажную коммуналку оказалась запертой – заигрались шашисты допоздна. Тогда отец залез на выступ котельной напротив нашего окна на втором этаже и стал пытаться обратить на себя внимание мамы, которая за окном укладывала и поила лекарствами детей. Мама, глядя прямо на него, никак не реагировала, приветственных жестов не делала, вниз к двери – открывать победителю! – не спешила, не говоря уже о воздушных поцелуях в сторону окна. Отец жутко обиделся, возомнил, что мама не хочет его пускать домой, а мать, со свойственной ей иногда рациональностью, потом объяснила, что если смотреть со света в темноту (а приходи раньше!), находящегося за окном не видно.

Кроме основополагающего вышеупомянутого вывода – насчет женитьбы, я приучил себя мыть посуду или пол (что гораздо реже), готовить (что угодно, лишь бы объяснили – письменно или устно – как) и ходить на рынок или в магазин. Зато гвоздь вбить или там палочку обстругать – сплошные мучения. Что значит отсутствие достойного примера в период активного импринтинга!

6

Однако, под влиянием стойких женских жалоб, я даже пытался советовать бабушке развестись с дедом. Очевидно, после очередной перепалки на невнятном мне языке, сверкания

глазами деда, его резкого ухода – схватил шляпу в дырочках, нахлобучил на бритую голову, сунул под мышку палку с гнутой ручкой и побежал, – бабушка мне перевела суть разногласий. Она просила его что-то сделать для дома, а он спешил на собрание эсперантистов. Или на серьезный разговор с активистами еврейской общины Оренбурга – в ней Самуил Ефимович был диссидентом (очевидно, большим сионистом, чем официальное руководство, и меньше склонным по любому пустяку прислушиваться к властям, а заодно и к утвержденным ими руководителям). Или на репетицию в окружной Дом офицеров – дед играл в самодеятельном «Клопе» Маяковского, попал даже на фотографию, которую в качестве иллюстрации всенародной любви к лучшему революционному поэту поместили в 11 том собрания сочинений.

Такие вот интересы были у бухгалтера на пенсии. До пенсии дед успел главное – сходить пешком в Палестину. Он и в девятнадцать лет не слишком интересовался бытом, включая дела на молочной ферме и в лавке, торговавшей продукцией фермы. Это все он оставил на двух незамужних сестер. А сам с приятелем в начале прошлого века отправился навестить святые места, приятель остался основывать Израиль, а дед вернулся.

После чего, уже не юный, потеряв после гражданской и погромов и лавочку, и гипотетическую возможность какой-либо частной собственности, женился на молоденькой Песе Рабинович и переехал из голодной Умани в Одессу. Где и устроился бухгалтером в пригородном совхозе (все-таки лавочка-то была молочной). Вот и сложилась одесская семья: Поля, Миля и Додик. (Господи, как меня раздражала эта юго-восточная любовь к ласковым суффиксам! Даже мама мужа могла называть «мусик», а иронию – или любовную игру – я не чувствовал. И собственное имя нравилось сокращенным на русский лад: Ося, Йося, даже Ёся).

А Поля Рабинович, прежде чем Миля стал ее так называть, тоже побывала в жерновах истории. Ее отца-лесничего в 1918 году подняли на вилы воодушевленные приходом казаков крестьяне, которым он, жидовская морда и господский холуй, еще при царе не позволял вырубать лес. После чего Поля осталась старшей и была вынуждена кормить братьев, зарабатывая ремеслом холодного сапожника. Но кормить не всех – следующий за ней 16-летний Яша исчез из городка.

Однажды, когда у юной бабушки был полон рот гвоздей, прибежали с улицы: «Бросай эти сапоги! Там твой Яша – главный красный командир!». И действительно: на белом коне под красным знаменем в Умань впереди бригады Котовского торжественно въезжал Яша Рабинович. Главным, конечно, он не был – он был ординарцем Котовского. И тоже, как Мирра Марковна, вошел в киноверсию советской истории: в подзабытом фильме «Котовский» есть одна реплика, которая одна из него и осталась. По крайней мере, мои сверстники еще помнят: «Как постричь? Под Котовского!» – и рукой потом по гладковыбритой голове. Так вот, спрашивал и брил Григория Ивановича ординарец. То есть Яша.

Григорий Иванович, как правильный пахан, после успешных боевых действий обеспечил соратников. Крестьянскую массу посадил на жирную землю под Одессой, на краю родной Бесарабии, организовав первые совхозы, а заодно, в будущем – и проблему Приднестровья. Потомки членов его бригады не потеряли буйного нрава предков и не согласились считаться простыми молдаванами.

Многие получили от него подарки. Ординарцу он подарил какой-то особенный буржуйский стол, который тот, уезжая из Одессы, передал семье Поли. Он до сих пор стоит (по крайней мере, лет пятнадцать назад стоял, я видел) в главной комнате квартиры на Греческой улице, дом 42 (она успела побывать улицей Либкнехта), рядом с «Детским миром». Эта квартира – и есть детский мир моего отца, вместе с футболом и шахматами. За прошедшие бурные годы стол этот не вынесли – он огромен, в нынешние двери не пролезает – и даже не раскурочили.

Тех же из своего войска, кто выказал армейскую сметку, Котовский определил в академии. Яша Рабинович после академии Генштаба, где он учился у Карбышева, стал большим начальником. Бабушка украдкой показывала его портрет с ромбами на воротничке. Украдкой

– потому что Якова Рабиновича, в звании комбрига командовавшего инженерными войсками Ленинградского округа (а их тогда всего четыре было, и Ленинградский строил «Севморпуть»), в 1938 году репрессировали. Умер он во время войны в казахстанской ссылке, никто из его родных с ним и его репрессированной семьей связи не поддерживал. Боялись.

По крайней мере, бабушка и ее самый младший брат Фроим хоть фамилии не меняли. А сын старшего брата, чтобы попасть в КБ Лавочкина, сменил. Лавочкин и сам-то был еврей, поэтому на фирме следили за процентным содержанием некристалльно-чистых, вдруг они авиационные (а потом уже и космические) секреты врагам передадут. Молодой Рабинович взял фамилию не русской матери, а жены. И стал Лакеев.

... Пока бабушка все это в очередной раз рассказывала, пришел дед. Он всегда прибежал и убежал по часам. В какие-то непонятные мне дни спешил к молитве. Покрывал голову платком, похожим на белую тонкую шаль (но не оренбургскую паутинку!), опускался на колени перед столом (в их восьмиметровой комнате, перестроенной из больничного коридора, больше нигде было) и то шептал, то пел на непонятном языке. Иногда в его молитве я слышал слово «Йоселе».

Он пытался меня учить этому языку и этому имени, но мне было как-то неловко, а в основном – лень делать то, что мне заранее неинтересно. Дед, наверное, был не слишком умелым педагогом, учил так, как его когда-то в хедере, увлечь не умел – слишком я был далеко от него по интересам, хорошие учителя умеют сопереживать своим ученикам. Оставалась строгость, но не очень суровая – сверкание глазами, без подзатыльников. В памяти сохранились только смешные словечки, которыми наиболее часто обменивались Поля с Милей: «амушл-капушл», «агицн паровоз», «шлемазл». Правда, слова эти из идиша, на котором дедушка и бабушка разговаривали в быту. А дед хотел научить меня письменному ивриту. Но из всех уроков я запомнил две-три буквы.

Эти буквы я потом узнавал на марках, которыми были обклеены свернутые в бандерольные трубочки израильские газеты, и на самих газетных страницах. Боже мой, как переживала мать из-за этих бандеролей! Она боялась, что папа потеряет партбилет, полученный на фронте, и работу (а то и посадят!) из-за своего сионистского отца. А деда при всех семейных радостях не оставляла тревога: как там в Израиле?

Чаще всего дед прибежал домой, тяжело дыша, потому что наступало время радиосеанса. На его «Балтике» (1955 года выпуска, она и сейчас жива) шкалу оберегала от света картонная заставка, на которую дед нанес расписание времени и частот «Голоса Израиля», «Свободы», «Би-Би-Си» и прочих вражьих голосов. Зачем он берег шкалу от света и не разрешал вытирать пыль на приемнике – я не понимал и повзрослев, даже тогда, когда сам в армии служил радиостом... Выли глушилки, а он, на ходу успев только шляпу снять, не ослабив еще ремень, стеснявший его обширный живот, вслушивался в слова, пробивавшиеся сквозь вой. Я унаследовал от него эту веру в значимость слова, любовь к всемирной эфирности. Эту страсть к свободе информации мать проклинала чаще всего, а бабушка лишь отпускала скептические реплики. Его интересовал не один Израиль, у него было собственное мнение по всем международным событиям. Дед был странным гибридом сиониста-космополита, воплощенный жупел советской пропаганды.

Неудивительно – он ведь был апологетом международного языка, писал на нем, переводил разные книги. Довольно известным авторитетом в пестрой среде эсперантистов. Да и не их одних, как оказалось! Тихо-тихо, никого не спросив, он написал письмо Мао Цзе-дуну, в котором предложил ускорить культурную революцию. Поскольку это было до известной кампании Мао, то можно считать, что дед Гальперин что-то подсказал... Ну вот, письмо с предложением ввести элементарное эсперанто вместо трудных неграмотным массам иероглифов пришло в Пекин. Его встретили без смеха, с опаской – вдруг Старший брат санкционировал

предложение?! И ответили: мысль интересная, будем ее думать, а Гальперину – большое спасибо за заботу о младшем брате.

Дед и меня пытался научить языку всемирного братства. Через пень-колоду я выполнял задания до тех пор, пока он не сказал мне, что ружье по-ихнему «пифо». «А стрельба – пафо?» – спросил я, откровенно смеясь. Дед махнул рукой и больше не приставал, а я продолжал разглядывать конверты из разных стран, на которых обязательно где-нибудь стояла зеленая звезда. Дед и сам штемпелевал такие, отправляя свои послания. У него была даже специальная подушечка и пузырек с зелеными чернилами...

Интерес к международным событиям приводил его осенью 56-го к фотовитринам, он и меня к ним брал, когда мы гуляли. Все остальное, о чем я выше написал в этой главке, не обязательно относилось к тому году, просто начиная с него я стал больше запоминать. Но фотовитрины – это точно я видел шестилетним. На них были «венгерские события»: повешенные люди, дымящиеся дула танков... И еще я запомнил разговоры про Гамаль Абдель Насера, Суэцкий канал и войну на востоке. После нее какое-то время перестали приходить бандероли с газетами.

7

Что дед в это время думал – загадка, несмотря на внешние признаки пристрастий. Конечно, он гордился успехами израильской армии, но в то же время не мог не связывать «империалистическую агрессию против прогрессивного Египта» с попыткой антикоммунистического восстания в Венгрии. А он ведь не только в «Клопе» играл, он и революционные стихи Маяковского любил читать со сцены. И вообще был явно антибуржуазен, хотя все грехи Советской власти познал на себе. А газету из Израиля получал коммунистическую, читал про достижения кибуцев. Повстанцев, вешавших вниз головой тайных агентов венгерского КГБ, он, насколько я помню, осуждал. Но по радио внимательно слушал все сообщения о зверствах советских оккупантов. Очевидно, он был так же раздвоен, как младшие по отношению к нему «шестидесятники», дети XX съезда (и его собственные дети), клявшиеся в верности Ленину и проклинаявшие Сталина.

«Кем бы мы были, если бы не революция? – позже объясняла мне мама. – Разве могли евреи в черте оседлости мечтать о таком образовании?» (не напоминая мне о своем отце, который сумел, сбежав из дома, до революции окончить гимназию на собственные заработанные деньги). Она гордилась мачехой, тем, что евреев среди революционеров было непропорционально много.

В глубине души, я сейчас думаю, она просто сочувствовала любым активным людям, видя в них проявление творческого начала. Хотя сама была очень осторожной. Довольно поздно, когда ей было за сорок, она вступила в партию – ведь обществоведение же преподавала, вот и очередь в райкоме подошла. До того, правда, сама считала, что занятость семьей не позволит ей быть активным коммунистом. И сохранила верность поздно оформленным убеждениям (скорее – вере в справедливость) до конца, до смерти, в противовес отцу. Который в согласии со мной в последние годы стал ярким демократом – уже из своего чувства справедливости, выращенного за десятилетия общения с партийным руководством журналистики. Хотя начатки антитоталитарного воспитания я получил именно от мамы, гораздо более откровенной при детях, чем отец.

Мама любила поддерживать вольнодумные разговоры, особенно горячо – о свободе творчества, была в своих мыслях значительно смелее тогдашних настроений папы. Но при этом ее всегдашний скептицизм (особенно – к тогдашнему руководству) и понимание непрерывности истории (или просто дух противоречия, или суеверный страх – вдруг все вернется? или

уважение к «большому стилю») заставлял хранить дома маленький гипсовый, крашенный под бронзу барельеф моего усатого тезки. Хотя тираном она его считала.

Она не верила почти пародийным его друзьям-ниспровергателям, тем более – после того, что Хрущев сделал с ее Киевом («на Крещатике скворешни понастроил!») и что хрущевские наследники сделали с Бабьим Яром. Яр засыпали каким-то хламом, превратили в место досуга, но уже в начале 60-х вода (или другая сила) размыва песок и невиданным в Киеве селом пронеслась по улицам, волоча за собой кости мучеников. Наводнение привело к новым жертвам неуспокоенного яра...

По крайней мере, антисемитизма в стране при Хрущеве меньше не стало, а на Украине после войны, когда он там наместничал, стало больше. Мама научила меня смеяться над Хрущевым-«кукурузником», из-за которого (по ее мнению) позже мы, как и весь советский народ, долгими часами стояли в очередях за серыми макаронами, молоком из бочки и хлебом, из которого сыпался горох.

Но это было потом, далеко после 56-го, а вскоре же появился в Оренбурге высокий белый хлеб. Круглая, как папаха, буханка, если ее прижать до конца, почти корка к корке – снова выпрямлялась. Хлеб назывался «Целинный», из той твердой пшеницы, которую поначалу давала распаханная степь. В магазины я попадал, когда меня вели от бабушки домой, иногда – мимо парка «Тополя», воспетого знакомым папиным военным поэтом Фатьяновым. И однажды вместо привычного высокого памятника в парке я увидел сапоги, стоящие на пьедестале. Сталина сняли с постамента, но не до конца. Допустим, кто-то подумал, что усатую голову и френч надо убрать, как дискредитированные, а сапоги еще могут пригодиться. Такое чисто служивое мародерство...

Путь до бабушки сначала казался путешествием. Она жила на территории областной клинической больницы в пристройке рядом со входом, ведущим в комнатку архива, где и работала. Одноэтажную пристройку к стене архива застеклили, получилась длинная и узкая, с большими поверхностями стекла, комната. Как вагон. Зато не было соседей! А вскоре там появились и батареи – чудо комфорта. В темном предбаннике, общем для архива и жилья, стояло ведро, исполнявшее роль туалета, особенно успешно – зимой. В комнате умещались две кровати с книжными полками над ними, стол и тумбочка с рукомойником, еще один столик, в данном случае – кухонный, с электрической плиткой. На подоконнике тихой растительной жизнью жил чайный гриб. Гостей принимать было негде.

Поэтому сидели во дворе. Посещавшие по служебной надобности архив посторонние люди с недоумением оглядывались на круглого коренастого старика, сидевшего, опираясь на палку, за вбитым в землю столом. Дед на неизвестном большинству языке что-то темпераментно и веско доказывал пришедшему в гости другу Зайчику. Человек с такой фамилией, предвосхитивший и внешностью, и повадками Кролика из мультфильма про Винни-Пуха, вежливо поднимал брови выше круглых очков и уважительно отвечал хозяину. Я думал, что его фамилия как-то связана с приветствием, которым они обменивались при встрече: «Зай гезунд!».

Я при деде за этим столом предпочитал не задерживаться, поскольку он мог поймать и заставить упражняться в чужих языках. Больше всего я любил бегать с кленовой очищенной веткой по просторам больничного хоздвора и рубить голову бурьяну. Клен я обрывал прямо у крыльца, он рос между дверью и высоким пьедесталом дымовой трубы от котельной, сама труба недостижимо уходила выше третьего этажа. Как же я мечтал забраться на нее! Клен, столик и труба, обнесенные штaketником, – вот и весь приусадебный участок, куда выходили подышать чистым воздухом.

Заросший бурьяном (и кучами угля и шлака от котельной) пустырь располагался между садиком и сумасшедшим домом. Психов я не боялся. Точнее, боялся не настолько, чтобы не бегать рядом. Мне же тетя Бася, мамина двоюродная сестра, которая психов лечила, все ска-

зала. Во-первых, погулять выпускают неопасных. Во-вторых, они заняты собой, на пацанов не смотрят. Как вон тот высокий красавец, у которого умерла жена. С тех пор он все ходит широкими шагами, что-то тихо бормоча, и дергает себя за ухо. Очевидно, хочет очнуться.

Тетя Бася Черкасская-Цесина, ее брат Иосиф Черкасский, их семьи – это, я уже понимал, самые близкие люди. Светка, старше меня на семь лет, временами была моей нянькой. Алик Черкасский, ее брат, младше меня на два года, был моим ординарцем во всех походах, самым верным другом. Они жили в соседнем дворе в Телеграфном переулке, а Бася Черкасская и ее хромавший после тяжелого фронтowego ранения муж Мирон Цесин – подальше. Но и их судьба оказалась связанной с нашим баракom, даже с его тяжелой аурой.

У них не было детей, и они решили взять приемыша. Тете Басе, как авторитетному врачу-коллеге, в Доме младенца посоветовали абсолютно здорового малыша, уже ходящего. Они с мужем пришли его забирать, няня вывела его за руку, но маленькая рахитичная девочка, сидящая у няни на другой руке, назвала тетю Басю мамой... Взяли ее. Она оказалась одной из дочерей той многодетной татарки, которая жила в соседней комнате нашего барака, чьи остальные дочери так старались познакомить меня с образом жизни матери. Лариса была для нее уже лишней, она стала единственной для тети Баси.

По крайней мере, в детстве никто не знал о Лоринoм приемстве, она была одной из нас, младше Алика, младше Лены. Здесь я уже выхожу за хронологические рамки, поскольку в 56-57 годах о ней как о личности еще было сложно говорить. Потом она росла очень строптивой, свободно-безалаберной, чувственной – неправильной для семьи инженера-строителя (в то время – редкая квалификация) и врача-психиатра. Они и пытались ее воспитывать в соответствии со своей методичностью и правильностью – не получалось. Очевидно, гены оказались в данном случае сильнее среды. Вот и рассуждай после этого о культуре и крови. Но нам, ее растущим рядом братьям и сестрам, это не мешало воспринимать жизнь Лоры как один из вариантов нашего же поведения.

...Спустя полвека Света и Лена приехали в Оренбург на поезде, я спешно прилетел. На похороны Алика, выросшего в крупного, открытого, доброго, энергичного мужика и умершего от инфаркта. На кладбище его могила оказалась в одном ряду с общей могилой Лоры и ее единственной дочери. Их за несколько лет до этого зверски убил наркоман, дочкин кавалер.

8

На детских фотографиях видно, как мы стремительно менялись. Перед школой у меня совершенно другое лицо, с другими пропорциями, лишь близкая посадка глаз напоминает того толстощекого малыша, который удерживал на коленях огромного терпеливого кота. И дело не в остриженных и потемневших волосах или порушенном борькиной палкой курносии, изменился взгляд – больше лукавства, меньше открытости. Хотя наивность осталась, но это уже не от непонимания открывающейся панорамы, еще и от какой-то мечтательности, упрямого стремления жить по-своему. А сейчас, глядя в зеркало, я не нахожу в своем лице столь любимых мною отцовских резких сухих складок от скул ко рту и вспоминаю мамино пророческое «барбоська»...

Отношение к себе у меня долгие годы зависело от маминого. И не потому даже, что мать я видел гораздо чаще, чем отца, и не потому, что отец почти всегда был на моей стороне. Главное, что мама была настолько внимательна, что видела и обычные недостатки, и те, которые могли возникнуть или лишь зарождались внутри меня. Поэтому ее мнение по творческим, например, вопросам, задевало меня – в плюс или в минус – больше отцовского, хотя, скажем, в журналистике папа-то был несомненным профессионалом. Скорее в редакторской работе, чем в писании, недаром на дружеской карикатуре изображен с гусиным пером, к пушистому

концу коего привязана гиря, – папа всегда писал тяжело и долго. И потом завидовал мне – легкости и быстроте. А я ему – его доброте, наивной презумпции хороших намерений тех, о ком он говорил или писал.

Мать как бы монополизировала последнее слово, которого, в самом деле, и не произносила. Наверное, сначала не за что было хвалить по большому счету, а в конце она не находила профессиональных оценок, поколебленная ходом современного литературного процесса. Поэтому обзор моих произведений ограничивался поиском огрехов. Мама, дня не проводившая без литературного журнала, ко мне относилась подчеркнуто бытово. Это и было оценкой, это и заставляло тянуться в жажде возможного, все-таки, признания (нам же нравятся одни и те же книги!). Ну а папа – как на первой в жизни встрече со мной, как на торжественном заседании – к самому технологическому процессу творчества относился с пафосом. Подхлестывала запомнившаяся строка из Вознесенского: «Стихи не пишутся – случаются».

Так, как я это сейчас написал, я не рассуждал, но все равно как-то чувствовал несправедливость того, что мои многочисленные писания появляются только под фамилией, общей для нас с отцом. И иногда все-таки подписывался маминой фамилией – И. Трипольский. Тогда в газетах, даже под стихами, зачастую ставили лишь инициал, а не полное имя. Позволяя, кроме прочего, думать, что автор не Иосиф, а, допустим, Игорь. Я затрагиваю этот период жизни, выхожу за рамки оренбургского детства, потому что уже довольно поздно разобрался и с именем, и с отношением к родителям, и с принадлежностью к какому-либо народу, временно оставившись на ничего не объясняющей формуле, подсказанной Тувимом: русский по крови, которая течет, и еврей по крови, которая вытекает.

А пока вернемся к Игорю, чтобы быть честным. На первом курсе всей компанией познакомились с девушками в «Птичьем кафе» на тогдашней улице Горького напротив тогдашнего Моссовета. То да се, провожания... Через пару дней они приехали к нам в общагу на Ломоносовский, та, которая ко мне – со значком «Ударник коммунистического труда» на довольно высокой груди. При знакомстве я назвался Игорем, почему-то не хотелось то ли трепать свое редкое имя со случайной подружкой, то ли стеснялся лишних вопросов. Кроме прочего, ласкательно-сокращенное имя казалось слишком детским, а полное пугало своей торжественностью – две гласных в начале. Малодушие, как всегда, оказалось посрамленным: вошел Валерка Косихин (потом – молодогвардейский писатель), которого не было с нами в «Птичьем», и давай: «Ёсик, Ёсик...». «А почему Ёсик?» – спросила моя подруга. – «Игорёсик!!!» – был ей громовый ответ кэпа нашей комнаты Юрки Шукова.

Вообще же, говоря о псевдонимах, стоит признать, что с подачи матери я плохо относился к людям, меняющим фамилию. Наверное, и потому был категоричен, что мне-то пришлось бы менять имя, отчество и фамилию, чтобы спрятаться от еврейства. Но иногда, сначала по прямому указанию редакторов, а потом и сам по разным соображениям подписывал заметки чужими, чаще всего татаро-башкирскими именами. Даже мой официальный псевдоним, закрепленный в двадцать два года в членском билете Союза журналистов, был из них. Правда, достаточно игривый: Вит. Аминов.

Уфимские газетные и окологазетные знакомые звала меня и Исупом, и Юсуфом. Для одних это было частью игры, насмешкой, пародией, циничным признанием управляемого расщепления. Кто-то, наоборот, старался азартно подчеркнуть эту иерархию, где евреи были последними чужаками даже для выходцев из тех аулов, где с основания не бывало ни одного еврея. А для книгочеев и фантазеров перевод моего имени в родное звучание означал признание общих восточных корней. Похожая история происходила и с фамилией. Некоторые произносили ее как Галберзин или Галибердин и хихикали: то ли от сходства с чем-то смешным или неприличным на их языке, то ли от мысли, что еврейская фамилия может быть похожей на тюркскую. Я же с детства вспоминал Осипа и Остапа (Бендером гордился раньше, чем Ман-

дельштамом!). Лучше всех называл меня капитан школьной команды КВН, будущий академик Гена Розенберг: «Йосиф».

Ну так вот, в Уфе мы оказались в 58-м году, после того, как в Оренбурге ликвидировали военный округ, возглавлявшийся генералом армии и Героем евреем Крейзером, и закрыли, соответственно, окружную газету. Мы переехали, оставив всех родных и знакомых в Оренбурге, переехали в почти столичное и, уж по крайней мере, интернациональное многообразие: кроме коренных русских, татар и башкир, в Уфе благодаря нефтепереработке и моторостроению обосновались азербайджанцы, армяне, немцы, евреи. Мама нашла тех, кто ей подробно расскажет о Пикассо, Сартре и джазе, а папа – достойных шашечных противников и возвращение к кипучему беспорядку молодежи после скуки военной газеты («Солдат энской части ползет по энскому полю на энском брюхе»).

Только вот папино удушие переехало вместе с ним. Ночью мы просыпались от того, что он, синевя, садился на кровати, не открывая глаз, и пытался дышать, прокашливаясь. Астму он получил в наследство от бабушки Поли, всю жизнь окутанную дымом папирос астматина. Ему уже папиросы не помогали – стали лечить гормонами, которые его потом и довели до инфарктов. От папы дурное наследство перешло Лене, а мне хватило сердечных болезней – от ревматизма, полученного в сыром полуподвале. Хотя по-настоящему, подолгу – по полгода в постели, я стал болеть уже в комфортных условиях. Я гордился теми двумя комнатами в уфимской многоэтажке со всеми удобствами, куда мы приехали. Конечно, это не отдельная квартира, но и не те халупы, в которых остались жить бабушка с дедушкой, тетя Сарра и тетя Ида.

Этих старых женщин я всегда звал тетями, как и других – тетю Соню и тетю Хану. Первые две жили в Оренбурге и были сестрами деда Гальперина, вторые две – в Киеве и были Трипольскими. Последние тоже служили в лавке, только не молочной, а мануфактурной, пока их брат набирался гимназической мудрости. Каждая пара сестер никогда не имела отдельной своей семьи и всю свою длинную жизнь связала с семьей брата. В семьях же братьев каждой стародевической пары было по одному ребенку, дети соединились и родился я – единственный мужской наследник, последний из Гальпериных и Трипольских. Все четыре тетки, когда меня видели, тряслись надо мной – в продолжение той службы, которую они несли при младших братьях.

Беленые стены каморки на Пролетарской улице Оренбурга, обшарпанный подъезд доходного дома у Сенного рынка Киева – тоже моя родина, потому что родина – там, где тебя любят просто за то, что ты есть. Хана была старше Сони, Ида была старше Сарры, но зато последние были не такие сгорбленные. И были такие же светлоглазые и светловолосые, как я. Соня (Шейндла – как я узнал, когда заказывал памятник на кладбище) была провизором, Сарра учила русскому языку, обе были педагогами по призванию, но бог не дал им детей. Толстовские сказки Сарра рассказывала, следуя своим еще дореволюционным убеждениям, Соня терпела мои шкоды с истинным непотворением.

В последний раз я видел тетю Сарру в оренбургском доме престарелых, когда приезжал в командировку. В заполненном осколками общества коридоре мы наскоро поговорили, я не мог увезти ее с собой, в уфимскую переполненную квартиру, как перевез бабушку, и куда потом перевез также оставшуюся одной тетю Соню. На ее покрытой родинками голове почти не было волос, наверное, ей было около 90 лет. Единственное, о чем тетя Сарра говорила, – о желанности смерти. Я не знаю, как она ее встретила. Зато я видел смерть дедушки, бабушки, тети Сони, папы...

Неправильно я сказал сначала, что отец всегда ходил быстро. Так я запомнил, когда чувствовал свою зависимость от него. А потом, когда уже папа от меня зависел, а я привык откликаться на имя Иосиф Давидович, вроде принял его частью в себя, он как бы и в другом статусе оказался в моей памяти...

Между четвертым и пятым инфарктом отец ходил уже совсем медленно. А я по привычке мчался вперед, не оглядываясь на человека, с которым вместе шел. У родительского дома на улице Достоевского в Уфе (бывшей Тюремной) мы шли, разговаривая, причем я – вполоборота назад, то набирая скорость, то тормозя. Обычно отец называл меня «сын», тон его теплый, а тут вдруг сзади меня окликнул твердым голосом: «Осик!». И мне стало стыдно.

Наверное, правильно, что человека зовут так, как его назвали родители.

Март-апрель 2006 года.

Страдательный залог

1

Фаза полета была короткой и практически не запомнилась. Осталось в памяти притяжение белого обрыва. Мелькание заледенелых кустов, слабость в ногах, не смеющих отвернуть лыжи так, чтобы упасть здесь же, среди кустов, не доезжая до края. Сильного удара не ощутил – ивовый борт ямы под крутым берегом, обращенный к реке, был скреплен накопившемся за зиму снегом, внутри яму наполнила утренняя пушистая метель. Провалился с головой.

Наверх высоко, даже если смогу целиком вылезти из вязких объятий, укрепиться на дне ямы и начать взбираться, без лыж буду проваливаться и сыпаться вместе со снегом обратно. Так и получается. А отвесно подниматься на лыжах я не умею. Вниз далеко. Сколько еще сотен метров катиться до зимнего берега Белой по подлеску, который весной река заливает, а сейчас он засыпан метелью, – страшно представить. А потом вдоль берега надо искать накатанный взрослыми лыжниками подъем. Увязну в этой целине и на лыжах, они короткие, ременные крепления соскальзывают с валенок. Нет, лучше наверх! Ведь рядом, метров тридцать по вертикали, – парк, а там до дома два квартала.

Из снежной воронки я выбирался четыре часа, осваивая технику подъема по спирали, скатываясь и сипя сквозь снежную пробку во рту. Дома уже давно ходили по соседским мальчишкам и спрашивали, где я. А я учился терпению, вынужденно извлекал уроки. Главный: не можешь вскарабкаться прямо – иди по касательной. Страх, который все время был рядом, подсказывал: если упаду и не встану – никто не найдет. По крайней мере здоровым.

Скорее, впрочем, это было не преодолением полного, отчаянного, страха, а неосознанным элементом самовоспитания. Ведь все время оставался перед глазами вариант броситься вниз, ко льду Белой, а там, возможно, легче найти людей. Хотя уже темнело, и с каждой попыткой пробиться наверх второй вариант делался все более бессмысленным.

Может быть, мое поведение и в этой, и в других разномастных рискованных ситуациях, выбранных сознательно или нет, объясняло одно – боязнь сдрейфить. (Чуждое слово, популярное в предыдущем поколении, употребляю в память о двух уфимских поэтах, один из которых, Александр Павлович Филиппов, написал о другом свои лучшие, а то и единственные настоящие стихи: «Я бы, может быть, и сдрейфил спирта пятый пить глоток – Юрий Федорович Дерфель поддержал под локоток».) На это слово меня пытались ловить и взрослые, и мальчишки, когда им хотелось добиться от меня поступка, который их или обогатит, или просто развлечет, или утвердит в своем превосходстве надо мной.

Я не всегда сразу замечал провокацию, но все равно ориентировался не столько на взгляд реальной компании, сколько на кого-то, кто незримо наблюдал за правильностью моих поступков со стороны. Или даже внутри меня. Как девочка в коробе за спиной медведя: высоко сажу, далеко гляжу, все вижу! И этого я боялся поначалу значительно больше, чем непонятной – в применении ко мне! – смерти.

Боязнь несоответствия чему-то заранее данному, принятому в подобной ситуации – наверняка типичный мальчишеский комплекс. Но я-то пишу не о комплексах и прочей психотерапии, а непосредственно о единственных и для меня неповторимых (хотя и повторяющихся всю жизнь) ощущениях и мыслях по их поводу. Да, пожалуй, и о действиях, к которым приводили эти мои внутренние причины. И пусть страх несоответствия не вызывал такого мгновен-

ного озноба, как страх смерти, но зато он мог царапнуть в любую минуту, а не только ночью перед сном, в момент первого провала сознания.

Примерно тогда же, когда я попал в снежную яму, лет с десяти-двенадцати, я стал бояться смерти. Раз уж упомянул, надо сразу сказать. Конечно, и до этого, в оренбургском детстве, видя похороны и слыша уханье барабана и вой труб, замирал и никак не мог прочистить горло. Но скорее, почему-то не сомневаясь в собственном бессмертии, боялся не окончания бытия, а мертвецов, которые могли, по моему разумению, прямо при свете дня вдруг подняться из гроба с бумажными цветами и гоняться за мной или по пыльному Телеграфному переулку, или по асфальтированной улице 9 января.

А собственной смерти я начал бояться уже в Уфе, может быть, с того момента, когда, проснувшись внезапно ночью от сердцебиения, включил свет и увидел прозрачно-белую лужицу на простыне. Первая поллюция – первый шаг к признанию смерти? Раз ты способен – пусть и не понимаешь пока этого! – создать другую жизнь, значит, должен взамен отдавать свою?

Почему же люди смирились с концом? – всматривался я в лица стариков, – должны же они видеть, что их ждет на горизонте! Я-то боялся, доходя до жара, который охватывал прежде всего голову, а потом – и тело, как бы проверяя каждую клеточку: жив ли? Надежно жив? Надолго хватит? Навечно? Мечтал, что к моему сроку человечество что-нибудь изобретет в качестве абсолютного лекарства, прислушивался к сердцу, порок которого мне объявили врачи.

Физиология, если она и двигала моими мыслями, поначалу меня не волновала, с возмущением и отторжением я знакомился с циничной подосновой жизни: сначала по откровениям на заборах, потом – по рассказам просвещенных сверстников. Этот цинизм неявным сопряжением вызывал отвращение к действительности – и ощущение опасности, возможности с этой действительностью навсегда расстаться.

Больше, чем физиология, тревожили новые книги, которые я начал читать. И не только Апулей и Боккаччо, тайно добываемые из шкафа, но и вполне романтическая литература. Обязательность, а то и мгновенность конца во всей прошлой истории и вероятном будущем ее обсуждению не подлежали, противостояние смерти, на котором юношеская литература построена, выглядело голословно и не полностью убедительно. В лучшем случае она учила жить с мыслью о смерти, а я жаждал кардинального освобождения от них! Резюмировал самодельной поговоркой: жизнь не сказка – плохо кончается.

И с мамой сразу разладились отношения, она называла меня непослушным, а я как-то отчужденно стал смотреть на ее истовые хлопоты – меня-то занимали грозное будущее и глубокие философские истины, о которых она, меня к ним направившая через любовь к литературе, забывала в своих бытовых страстях. Как мне казалось. А теперь думаю, что в искусстве она искала не истин, а созвучия своим страстям, резонанса, ей так его не хватало среди ежедневного общества учителей и учеников вечерней школы...

Дело еще и в том, наверное, что мое всегдашнее упрямство, которое она и младшая сестричка рифмовали «Осик – ослик», к тому времени перешло на онтологический уровень, я осознанно стал считать свое ощущение, свою отдельную личность самым главным в моей жизни. Лежал и горько думал, что когда стану взрослым – не забуду о том, что дети думают по-своему и имеют право на это! К таким высоким мыслям меня приводили обычные в семье споры: что одевать или что есть, с кем водиться, а с кем – нет, что читать рано, какие уроки делать...

Недавно шестилетняя внучка Оля расплакалась из-за того, что я дал ей поджаренный хлеб, на котором не растаяло масло. «Нечего реветь по пустякам!» – заорал я. Она повсхлипывала, а потом сказала своей заединнице Любе (бабушке): «Когда стану взрослая, куплю вам миелофон!» Это она в мультфильме по Киру Булычеву видела такой прибор, который позволяет читать мысли. Наверное, для нее степень важности, из-за чего реветь, определяется не

предметом, а тем, понимают ли ее. Я ведь знал, когда предлагал ей этот кусок, каким она его хочет получить. Но решил, из упрямого понимания, как правильно жить, проучить: провозилась – вот хлеб и остыл, не будешь в следующий раз копать. А она-то живет не в следующий раз, а сейчас. В момент моего упрямого непонимания.

В войне взрослых и детей у детей не так много оружия, кроме слез. Упрямство приводило к поискам более мощного способа воздействия – и я мстительно думал, что вдруг умру, тогда они поплачут. Как плакали родители одноклассницы, умершей от водянки.

Достоверно не объяснимо, но не случайно вслед за страхом смерти пришли мысли о самоубийстве. Возможно, подоплека такая: чего тянуть, всю жизнь дрожать! Позже, лет в четырнадцать сформулировал повод не кончать с собой: имел несчастье родиться – имей совесть жить. Хотя в дальнейшей молодости, биясь в стены, отделяющие одного близкого человека от другого и желание от исполнения, то есть страдая от несовершенства мира, иногда хотелось, безо всякого внешнего повода, оторвавшись от любимой женщины, например, шагнуть с балкона.

Кажется, можно объяснить так: попытка остановить труднодостижимый момент счастья. Хотя потом понял, что моя же страсть к переменам, стремление заглянуть, подтянувшись, за горизонт, мотор обновления – предполагают смерть в качестве рычага осуществления. Старое должно умереть, чтобы не мешать новому. Но вот обязательно ли? Конечно ли развитие индивидуума в принципе?

Первые в жизни собственноручно написанные стихи были мрачными. Родились они во время диктанта классе в четвертом, когда учительница продиктовала предложение, своим твердой размеренностью заставившее признать его первой стихотворной строчкой: «Спускается солнце за горы...», и я продолжил тут же, на страничке черновика диктанта: «туда, где прячется ночь, где мраком наполнены боры, и звездам светиться невмочь». Слова «человечество», «космос» волновали не меньше, чем личное бессмертие, изумлялся беспечности окружающих, не думающих о том, что Солнце когда-нибудь точно должно потухнуть.

Поэтому так радовался космическим успехам: сможем сбежать к другой звезде, когда припрет. Полета Гагарина (не зная имени, конечно) ждал, следя за беспилотными запусками, а дождавшись – выскочил весенним днем на крыльцо подъезда и заорал, сообщая всем дворовым пятиэтажкам: «Человек в космосе!» Была в этих самых настоящих новостях и какая-то новая настоящая свобода, преодоление не просто земных пут притяжения, а и всяких других.

Мальчишкой мне повезло посмотреть в глаза одному из первых космонавтов. Отцу, замредактора республиканской молодежи, в день старта корабля «Восход» с тремя космонавтами на борту по каким-то каналам сообщили: живут в Уфе уважаемые инженеры – родители жены командира корабля, Владимира Комарова. Отец успел поговорить с ними и рвануть в командировку, нашел по подсказке земляков сверхсекретный тогда Звездный городок (не имея официального разрешения, сиганул через ограду!) и там вместе с женой космонавта Валентиной ждал возвращения корабля с орбиты. Кстати, дальнейший перелет экипажа с Байконура в Чкаловский затянулся по причине государственного переворота. Взлетел «Восход» при Хрущеве, а сел уже при временном триумвирате. Поэтому и торжественная встреча откладывалась – выработывали новый ритуал.

Отец написал очерк о космонавте Комарове и его семье (родители жены заменили Владимиру Михайловичу собственных родителей), а потом и телефильм сделал. Поэтому, когда Комаров приехал в наш город повидаться с родственниками, отцу было дозволено с ним встретиться. И я навязался. Дворик в Соцгороде – поселке строителей первых уфимских нефтезаводов. Холодно, прыгаю на месте, грея за пазухой любимый фотоаппарат «Смену-2». Подъезжают «волги», из одной выходит невысокий офицер в темной шинели (Комаров пришел в отряд космонавтов из морской авиации). «Владимир Михайлович, можно я вас для школьной стенгазеты сфотографирую? – Ну, если для газеты – давай!».

Потом такие же спокойные, с обстоятельным всматриванием, глаза я видел еще у одного космонавта – Владислава Волкова. Это когда я уже не для школьной, а для взрослой газеты делал интервью. Было это между первым и вторым его полетом, он прилетал на уфимский приборостроительный завод проверить какие-то элементы ориентации, а в дом-музей Ленина его загнали на обязательную экскурсию, где его я, предупрежденный заводскими приятелями, и подкараулил.

И Комаров, и Волков запомнились мне ощущением нестигаемой силы, уверенной в праведности дела, которому они служили. Они были особенными, отдельными даже от других космонавтов – испытатели, инженеры собственного риска, а не дежурные по орбите. Оба виденных мною близко космонавта погибли на спуске после своих вторых полетов, их именами названы корабли и улицы. Корабли, когда-то входившие в командно-измерительный комплекс, вроде бы уже списаны, а жители улиц не все и не всегда помнят, что сделали люди, давшие имя их адресу.

Может быть, игра в суеверие, а может быть – чтобы потом не в чем было себя укорить, но я больше с действующими космонавтами старался не встречаться. Слишком хорошо я запомнил первые летние дни 1967 года, когда хотел дать телеграмму Владимиру Михайловичу, поздравить с успешным приземлением, а отец говорил: «Погоди, тут какие-то непонятные «тассовки» приходят...» После этих слов я бродил по улицам, смотрел на ничего не подозревающих прохожих и, неизвестно к кому обращаясь, просил, чтобы все обошлось, чтобы Комаров остался живой после своего испытательного полета. И стих написал в те дни, посвященный его памяти. Стих неумелый, семнадцатилетний, кончался словами: «...но тихо говорит пророк – и мы исполним предсказанье».

Личные пристрастия (и связь героя с Уфой) и заставили меня в апреле 1981 года, когда отмечали двадцатилетие полета Гагарина, написать о Комарове – он был старшим в шестерке первого отобранного отряда космонавтов, был авторитетом для Гагарина. Юрий Алексеевич потом был у него дублером на том самом неудачном «Союзе», который Владимир Михайлович чуть ли не вручную вывел и потом таскал по орбите, выявляя все новые «бобы» (так космонавты называли проколы, неполадки). До этого ни один беспилотный «Союз» не приземлился удачно, Комаров и Гагарин об этом знали, но все равно просились опробовать новую технику (она с тех пор сорок лет работает...). Владимир Михайлович нашел причины многих неполадок. А последнюю – ценой жизни. Вошел в оренбургскую землю на двадцать метров...

Примерно об этом я тогда написал целую полосу (не особенно намекая на тех начальников, кто согласился послать живого человека на недоработанном корабле), вместе с рассказами его родственников о личной жизни Комарова. Через пару часов после выхода номера, когда моя полоса уже висела на доске лучших материалов и мы с ребятами готовились обмыслить премию, в коридор выскочил тогдашний новый редактор, до того бывший комсомольским аппаратчиком, и снял полосу с доски. Я пошел за ним в кабинет, а он показал подчеркнутые красным абзацы на другом экземпляре газеты.

Это были следы внимательного номенклатурного чтения, красным простые читатели нам не отмечали ошибки. Читал мою статью секретарь обкома партии (КПСС, конечно, других партий не было) по идеологии. Секретаря звали Тагир Исмагилович Ахунзянов, он был фронтовик, неплохо относился к моему отцу и поэтому в свое время, несмотря на недобрый шлейф, тянувшийся за мной из Москвы, разрешил принять меня на работу в республиканскую газету. В тот праздничный день он орал на новичка-редактора и велел гнать меня из профессии напроочь.

Не понравилось именно пристрастие, личный взгляд на общезначимые события. Кроме того, в день, празднуемый государством, я вспомнил об ошибках и трагедиях. Кто разрешил?! Но сразу меня почему-то не уволили, а наш замглавного, молодой Дима Ефремов послал полосу Василию Пескову – авторитетному автору репортажей и книг о первых космонавтов.

Тот спокойно ответил, что данный материал, конечно, своеобразно раскрывает тему, но имеет право на жизнь. А через пару месяцев на всесоюзном совещании работников печати Василий Михайлович Песков с цеховской трибуны рассказал, что вот так, как в Уфе, не нужно партии руководить газетой, что журналистам стоит дать немного свободы. Ахунзянов в кулуарах уверял Пескова, что его неправильно поняли.

А я окончательно перестал бояться потерять работу. Если будет из-за чего, если удастся сказать понятую мною и важную многим вещь – не жалко. Не пропаду. Я же видел людей, идущих на гораздо больший, смертельный риск. Идущих осознанно, а не под наркозом эмоций, навстречу тому, что принять нельзя. При этом без примеси фанатизма, позволяющего презирать смерть, поскольку (например, случай джихада) обещан способ ее превзойти.

Человек есть то, чего он боится. Может быть, моя переделка старой формулы кому-то понравится меньше, чем более наглядная и первородная «...то, что он ест», а я принимаю придуманную свою фразу, как рабочую гипотезу. Система табу – это культура, система личных страхов – личность. Совесть. Вера? По крайней мере, одна из осей координат. Недаром мировые религии стоят на обещании бессмертия, а заповеди начинаются с «не». Воспитание негативным примером: возжелал – будешь наказан. Но это все – схема, а индивидуальны способы сосуществования со своими разнокалиберными страхами: понимание их, учет при прогнозе собственных действий, преодоление – или эксплуатация.

Это и есть вторая сторона жизни в страхе, о ней я даже стихи не так давно написал: «Я – наследник своих врагов». Адаптируешься к тому, с чем борешься, на тебя переходят, как в тесной схватке – чужой пот, чужие приемы, отношение к действительности. Стараешься на себя посмотреть глазами противника. В любом случае, начинаешь понимать другого. Подсознательный импринтинг. То, чего боишься, становится частью тебя, а поскольку боишься разного – и материального, и мифического, и вообще иллюзорного, то вся эту сумму страхов и можно считать внешним выражением себя. Ведь даже за свои положительные идеалы ты боишься: вдруг они смешны кому-то, неправильны по сути, делают тебя уязвимее, мельче.

В конце концов, ничего страшного – страхи не обязательно заставляют делать подлости или предавать идеалы. Иногда – наоборот, в зависимости от того, чего боишься. От того, какой ты.

2

Вот я, например, труслив – боюсь драк. Удара. Хотя боли, в общем-то, сильной не испытываю, как-то даже убежал от милиционера по трибунам стадиона «Строитель», где зайцем смотрел мотогонки, а потом выяснилось, что бежал со сломанной пяткой – неловко прыгнул с трибуны. Но вот драться – даже в детстве, даже не до крови – практически не доводилось. По крайней мере, по собственной инициативе, да и били-то меня за всю жизнь раза два.

Помню свою идиотскую реплику: «Не надо снега! У меня гландов нет!», это мальчишки повалили меня, неуклюжего второклассника, и пытались накормить хрустящим снежком. Дело было вскоре после удаления миндалин, и мама со слов врачей строго запрещала мне простужаться. Я позорно плакал, идя домой. А мальчишек отогнали тяжелыми портфелями и мешками с тапочками девчонки из класса – так я с ними и подружился.

Собственно, сама операция – еще в Оренбурге – меня поразила первым отрывом от дома. В больнице, в детском отделении, в центре внимания оказалась взрослая почти девочка, рассказывавшая о своей любви к некоему форштадтскому, это такой казачий район в городе, бандиту. Сначала я слушал с недоверием, но потом, когда ее пришел навестить после операции сумрачный парень и она потянулась к нему, как деревце под ветром, я почувствовал незнакомую правоту. И восприятие моей операции было как бы сглажено этой девочкой, сначала пре-

увеличенно на публику (репетировала встречу с любимым?) страдавшей, а потом забывшей о боли, как о поводе, который привел к ней сочувствующего.

Хотя я остро почувствовал боль, когда петельку накинута на гланды и дернули, сунув в горло еще и никелевый ножичек. Это была первая боль, сознательно причиненная мне, да к тому же – взрослыми и при моем почти согласии. В дальнейшем бывало и большее, например, когда в кремлевской поликлинике мне вводили зонд в мочевого пузыря безо всякого наркоза...

В первые уфимские зимы мне нечасто приходилось бывать в школе, ревматические атаки переживал в постели по несколько месяцев, иногда и в больницу клали. Так что дружба с одноклассниками пригодилась – приносили задания, которые мы потом выполняли вместе с мамой. Когда она уходила на работу, я раскатывал в лепешку пластилин и прикладывал к батарее – получалась, как сказал бы искусствовед, гемма, мини-барельеф. В пластилине мне виделись леса тонких растений. Еще вырезал из почтовых конвертов картинки, больше всего запомнился благородством коричневого тона и рисунка памятник погибшим кораблям в Севастополе. Надо бы посмотреть в натуре...

Когда я, классе уже в пятом, наконец вырвался из постели и вышел, переваливаясь рыхлым телом на слабых ногах, на улицу, встретили меня насмешками. И во дворе, и в классе – особенно те, кто не приносил мне заданных уроков. Мы шли цепочкой между осевшими сугробами, я, в основном, следил за светло-русой косой Гали, шифрованным именем которой списывал не только промокашки (а «Ялаг», кроме прочего, была аббревиатура: «Я люблю Аксенову Галю»). Поэтому не обратил внимания, с чего это Ниткевич стал ко мне придирааться.

– Толстый! Жирный! Поезд! Пассажирный! – это мне? А сам-то какой противный, как масляный! – Чего морду воротить? Хочешь, в морду дам? Смотрите, он уже испугался! – И Галя смотрит, и Лешка смеется, хотя ведь мы с ним вместе писали имена наших девочек на запястьях. – Не, он драться не будет, не надейся! Евреи все такие трусливые. У него, наверное, и отец такой... – Отец? Бабушка хранила в шкатулке главных своих сокровищ его суконный ефрейторский погон, привезенный с войны, и серебряную медаль «За отвагу!».

Я ударил с такой силой, что Ниткевич упал. Потом вскочил, тыльной стороной ладони вправил челюсть и убежал.

Второй раз, который помню, я был готов ударить уже в Москве, в общаге журфака. Люба сидела в кресле в холле, а мускулистый юрист Ибрагим тянул ее куда-то в свою компанию, в свою комнату, может быть. Она идти не хотела, он улыбался длинными черными ресницами и небритыми щеками и продолжал тянуть за руку, а улыбались ли его глаза – не понятно было из-за их блеска. Я влез. Он сказал: «Пойдем выйдем!» Мы зашли в туалет, он крутил кулаком и спросил меня: «Это твоя девушка? – Да! – Так бы и сказал!» И он вышел, а я остался, слегка обалдевший. Мы с Любой и знакомы-то толком не были.

Ну ладно, она, по крайней мере, через полгода стала моей женой. А вот зачем я полез защищать от «дикой дивизии» Светку – вообще не ясно. У Любы была, во всяком случае, непятнанная репутация девушки, по выходным исчезающей из общаги, а Светкины похождения были у нас на глазах. Так что я не за нее вступился, и даже – не за свои возможные интересы. Хамство не понравилось. И уже обреченно становился в подсмотренную в кино боксерскую стойку, когда из-за спины вылетел неожиданный Вовкин кулак. Пьяный юрист упал, а Вовка, с которым мы жили в одной комнате и с тех пор уже сорок лет защищаем друг друга, сказал: «Опять пальцы выбил! Из-за тебя»

Точно помню, что меня один раз били, правда, не очень долго. В Уфе, у гостиницы «Башкирия». Мы шли вечером, почти ночью, вдвоем с моим другом Бессоновым. Каникулы кончались, ему надо было устраиваться на работу, а меня ждал выпускной класс, в ожидании этих хлопот мы и бездельничали, ходили на танцы и по знакомым девочкам. К тому времени нас в городе уже знали, поскольку я участвовал в телевизионных юношеских передачах, а он своим

красивым мужественным лицом напоминал киногероя и потому на молодежных городских мероприятиях был заметен.

Греясь зябким вечером в лучах славы, направляемых девушками, вышедшими из кино-театра «Родина», мы вдруг увидели толпу человек в двадцать. Среди них был другой широко известный юноша, Вовка Абросимов, теперь – народный артист на пенсии, а тогда – звукооператор на телестудии, который впоследствии нагибал к нам на передаче «журавля» с микрофоном. Как-то странно он кивнул в нашу сторону и прошел дальше – за красавицей Тamarой, они с тех пор лет сорок, как выясняют отношения. И кто-то из его свиты, не останавливаясь, вдруг въехал мне в ухо, второй ткнул в спину. А не ходи мимо чужих девушек по чужим улицам! Я и до этого сторонился подростковых стай, а с тех пор – и подавно. Хотя вряд ли теперь подростки воспринимают меня достойным для своей чистой агрессии объектом, разве что – корысти ради.

И все драки! Даже в армии, когда заступался за восемнадцать белорусов, которых в нашем взводе обижали восемь грузин, драться не пришлось – отношения выяснили на словах. Так и вырос, к тайной тихой своей радости, небитый, так и, в общем-то, состарился.

Да что там человека – я и по шарикку целлулоидному боялся ударить! Лет двадцать увлекался настольным теннисом, большую часть партий проводя в защите, а играли мы в уфимском Доме печати по многу часов. Помню, отец, когда еще учил меня, когда я и представить себе не мог, что он мне может проиграть, кричал: «Бей!» А я не бил, а только закручивал. Впервые встав к столу, обнаружил, что от левого плеча, обратной стороной ракетки, мне бить неудобно, поэтому с радостью забросил папины технические советы и взял ракетку «по-китайски», как сейчас никакие профессиональные китайцы не держат. Зато я смог закручивать шар в любую сторону и в защите смягчать любой удар, а еще отец теперь ничего не мог мне посоветовать. Это уж потом я осмелел и сам стал бить по шару хоть из-под стола, потом никто из игроков-любителей не мог меня обыграть в длинном изнурительном марафоне из десятка партий. Так, защищаясь, и стал победителем. Даже в футбол играл крайним защитником, пока ногу чуть не оторвали...

Скорее всего, меня до печенок проел идеологический страх – страх физического насилия, нарушения какой-то целостности, может быть – гармонии. Как по применению ко мне, так и моего возможного насилия над кем-то. То есть на словах я всю юность был очень храбр и безапелляционен, этакий радикал. Мог сказать, а потом и написать то, чего любые драчуны боялись. Вставал на собраниях и выступал против заранее утвержденного мнения школьного начальства («Выгонять из комсомола за тройки – это неправильно, в комсомол люди идут за идеалами!») или университетского («Вы нам ничего не доказали, а требуете, чтобы мы на слово поверили, что наш товарищ – вор!»). Что с того, что право было начальство, если подумать, – зато какое упоение противоречить сильному при полном зале слабых и думать, что они сейчас за твоей спиной становятся силой!

А начальство следовало своей логике. В первом случае – потому что комсомол был, на самом-то деле, не структурой идей, а вожжами и кнутом. Во втором случае – потому что Ленка и вправду своровал плащ и вся компания пропила вырученные деньги, не задумываясь об их происхождении. Но не по факту, а по методу – я был прав, если отбросить оттенок самолюбования. Они – власть! – карали, требуя нашего согласия и не говоря того, что знали или думали, что знали. Это двойное насилие.

Я и сейчас иногда отбрасываю книгу в сторону, если понимаю, что героя начнут обижать. И боевики не люблю, самые реалистичные, особенно отечественные – не смотрю. И войну не люблю. Хотя революцию когда-то считал высшей ценностью – восстановлением справедливости, а она ведь, по большому счету, самый хаотичный вид войны.

3

Войны боялся не я один. Все взрослые помнили, какая она бывает, а нам вместе с ними все время рассказывали, какая она может быть. Бедная тетя Соня, которую я перевез к маме в Уфу из Киева уже абсолютно больной, умирая на девятом десятке, все спрашивала, слегка грассируя: «Как там пегшинги?» Она беспокоилась из-за американских ракет средней дальности, устанавливаемых в Германии, под прицелом которых нам, остающимся, предстояло жить. А мы тогда, к концу ее и – так совпало – брежневского века уже устали бояться атомной войны, может быть, отвлеченные от нее явной паранойей войны афганской.

Впрочем, я могу с достоверностью говорить лишь о себе. Обсуждать военные темы прилюдно и всерьез было опасно: или сочтут идиотом, если будешь неискренним, или настучат, если выскажешься о «миролюбивой политике партии и правительства». Кроме того, потом, когда можно стало обсуждать афганскую кампанию, выяснилось, что многие считают ее если не справедливой, то вполне допустимой. Жалеют только ее ветеранов, которые не так, как уцелевшие ко временам Брежнева «ВОВики», были обласканы обществом. Хотя и ветераны Великой Отечественной были не слишком довольны своими пайками. Но все равно, не выясняя социопсихологию тогдашних современников, буду писать во множественном числе, так как привык считать себя среднестатистическим человеком, мейнстримным...

Все время сравнивалась жизнь военная, довоенная и текущая. Жили относительно войны. Прошлой, возможной грядущей и холодной. Вглядывались в межвоенные – между Первой и Второй – десятилетия, искали знак, когда наши межвоенные закончатся. К этому подталкивали и бомбоубежища во дворах, и пропагандистская радость по случаю испытательного взрыва на Новой Земле, и подозрительно настойчивые уговоры жить мирно и бороться против маньяков-империалистов, и плакаты в школе – что делать в случае атомной атаки. Шутили по их поводу – и это было первое ощущение какого-то диссидентства – что нужно завернуться в белую простыню и тихо ползти на ближайшее кладбище. Рассуждали, в какой список входит Уфа: первых десяти целей или первых тридцати? Я даже не за себя уже боялся, понимая, что испарюсь в первом же «грибе», жалко было светлого будущего, в которое почему-то верил, несмотря на явное вранье его проповедников.

От этих постоянных сравнений с войной была и тогдашняя неприхотливость: «Подумаешь, в войну и больше соломы в хлебе бывало!», и тогдашняя мобилизационная готовность: хоть на целину, хоть нефть в тайге качать, хоть ГЭС строить. Как бы продолжение эвакуации, трудового фронта, лишь бы не бомбили. Такая большая государственная коммунистическая вожа, используемая, скорее всего, сознательно. Недаром главный детский поэт Сергей Михалков, всегда исполнявший пожелания заказчика, писал с гордостью за Советскую Армию, пугая скорее отечественных детей, чем империалистических забугорных бяк: «Бомба атомная есть, есть и водородная!»

Повзрослел и всерьез начал бояться войны – одновременно, осенью 1962 года. Самый холодный ветер холодной войны, охладивший первородный детский оптимизм, – ракетный ветер карибского кризиса. Не помню, откуда я узнал про ультиматум Кеннеди, про то, что не надо верить твердым голосам советского радио, но помню, как ходил по ветреному городу, время, казалось, растягивалось, перекручивалось и утончалось, как ириска. Я пристально всматривался в следы реактивных самолетов (хотя как отличить «свою» газовую струю от «чужой?»), на моих глазах размывавшихся из нанесенных тонкой кисточкой упругих линий в какие-то веники, и ждал, что с неба посыплются бомбы.

Решение вывести с Кубы ракеты, о которых еще день назад говорилось, как о злостной выдумке буржуазной пропаганды, преподносилось как большая победа в борьбе за мир. С кем борьба – с собой? И я возненавидел Хрущева даже не за блатную ложь, не за хитрож...ую

тупость, а за то, что он, не задумываясь, подставил под ядерный гриб миллионы людей, ни у кого не спрашиваясь. А Кеннеди стал казаться мне таким же смелым, прямым и веселым, как мой отец. Поэтому я так плакал год спустя, когда убили молодого американского президента, и так радовался два года спустя, когда убрали Хрущева. Даже заорал под государственный металл дикторского голоса: «Ура!»

Поэтому и следующих за Хрущевым правителей принял поначалу с доверием, пока они тоже не начали говорить о происках «империализма» и чуть не втянули нас в арабо-израильский конфликт. Хотя, надо признаться, и самому хотелось вмешаться во вьетнамскую войну со всей пассионарной силой юношеского стремления к переменам, особенно – к наведению справедливости...

Войну взрослые вспоминали по-разному. И я сопереживал, ощущая в себе страх повторения рассказанного. Женщины, с которыми по малолетству я общался чаще, говорили о теплушках, о скученности и вони. Мама – о жизни в совхозе в заснеженной степи, об умирании на ее четырнадцатилетних руках моей родной бабушки, которую я никогда не видел, об обидах и доброте тех, с кем она делила свою юность. Бабушка – об одесской степи 41-го, о стерне, в которую вжимал ее голову мой шестнадцатилетний папа, заслоняя собой от «Юнкерсов», налетевших на их последний уже эшелон.

Отец об этом не вспоминал. Рассказывал всякие забавные случаи: например, как они с фрицами из одного леска на нейтральной полосе таскали сучья на дрова, или как чуть не утонули в винном подвале шляхетского замка в Западной Белоруссии.

Не скрывал он и собственного страха, описывая 2 мая 1945 года, когда на него, отправленного чинить «гитару» (деревянную крестовину, к которой крепились провода), выскочил из засады «фердинанд». Скорее всего, самоходка поджидала, расщепив «гитару» первым выстрелом, ремонтника-телефониста, только вот у немцев в Восточной Пруссии к тому времени уже кончались снаряды – и бронемашина лупила по двадцатилетнему худому солдатику бронбойными болванками, как бы приравнивая его к себе. Он метался по дюне на берегу Куршской косы, болванки шипели рядом, зарываясь в песок, и было особенно обидно погибать в дни, когда всем уже была видна победа. Отец ее встретил контуженным.

О двух других фронтовиках, с которыми меня, дошкольника, познакомил тридцатилетний папа, я давно написал стихотворными строками. Попытался внятно описывать и рассуждать в поэзии. Не уверен, что получились стихи, но мысли свои я выразил – потому и долго не мог напечатать. Печатающие – боялись. А мне писать было не страшно, а сладко, вроде бы восстанавливал гармонию, нарушенную теми встречами.

Первой была история нашего с отцом похода через несколько улиц к папиной сотруднице по газете, у которой муж оказался полковником кавалерии в отставке. Он – как мне казалось – старался геройски выглядеть перед мальчишкой, а может, сам хотел посмотреть на себя глазами случайного непредвзятого пацана. Показывал штыки, кортики и сабли, висевшие на ковре, меня поразили тяжелые тусклые ножны, по моей просьбе он дернул эфес – а клинок-то был обломанным. Потом во дворе выстрелил из какого-то маленького карабина (может, боевого, но кавалерийского?) и разрешил мне прижать его к плечу... Через двадцать лет я написал «Обломок»: «Он был полковник кавалерии, оседланный большой женой...». Меня убеждали опытные литучителя, что я ничего не понимаю в подвиге старшего поколения, а я-то писал о том, как быт и мелочность бытия обламывают людей, мчавшихся в атаку.

И вторая история была, наверное, о цене поступков и цене жизни. О безногом комбайнере Прокофий Нектове, которого привел к нам в гости отец. Целина, целинный хлеб в долго голодавшей (а потом, после небольшого перерыва, продолжившей недоедать) стране. И солдат, на войне потерявший обе ноги и ставший Маресьевым не голубого воздушного океана, а земных огромных полей пшеницы. Конечно, отец об этом писал очерк, пусть даже не упоминая цену хлеба, но держа ее в подсознании. Только вот во дворе нашего барака за дощатым столом

они с Нектовым пили водку не за это – а за непонятные мне тогда (и теперь уже не узнаваемые) фронтовые дороги, на которых одни напрочь теряли ноги, а других пощадили неразорвавшиеся снаряды.

Об этом я писал в стихе, но еще и о тех безногих, которые не на комбайн пошли, а сели на каталки и стали попрошайничать. Наверное, я чувствовал, что страна, уцелевшая благодаря немереным потерям и нескончаемым инвалидам, должна была сделать как-то так, чтобы жизнь уцелевших, не обязательно оставаясь подвигом, была бы человеческой...

Еще и поэтому мы боялись войны. Не напрасно – это выяснилось в декабре 1979-го, когда на дедовой «Балтике» я поймал сквозь «глушилки» Би-Би-Си. Радио не говорило о «вводе в Афганистан ограниченного контингента советских войск», оно говорило о войне, чью жестокость и тупость ощущают до сих пор не одни инвалиды афганской кампании, чье разочарование в обездолившем их государстве влилось в общее отторжение советской власти. Тогда уже не нужно было быть большим провидцем, чтобы сказать: «Советский Союз вспорол себе брюхо ржавым консервным ножом». Я и сказал это той декабрьской ночью – за двенадцать лет до конца Советского Союза.

В те годы личное участие в войне казалось мне наиболее реальным за карьеру мужчины призывного возраста. Еще до Даманского наш однокурник Саша Головня пел, правильно понимая политику пролетарского интернационализма, проводимую партией и правительством: «Чтобы море Черное не стало морем Желтым, возьмите автоматы и направьте на восток». Воевать китайцев меня не отправили, поскольку удавалось косить от призыва после ухода на заочное. Во Вьетнам послать не могли – пока шла там необъявленная советская кампания, у меня еще не было пригодной армейской специальности. Когда служил действительную, наиболее вероятным противником считали Китай, а воевать посылали в Африку, но начальство не хотело связываться с одногодичником, рядовым с высшим образованием. А вот в тридцать лет меня теоретически могли вызвать из резерва, учитывая первый разряд радиста, дать после курсов офицерский чин и отправить, куда им надо. Что с того, что двое детей...

Но нет, на такой явный произвол не пошли, хотя масштабами отправок и заставили меня задуматься насчет верности присяге. Разумеется, учитывая малолетних дочек и сеть стукачей, эти мысли я широко не пропагандировал, ограничиваясь в компаниях скептическими репликами относительно достоверности сообщений «из-за речки». Тем более, что тамошнюю первобытно-общинную действительность довелось наблюдать пару недель, глядя с советского берега Аму-Дарьи во время репортерской командировки на строительство газопровода Афганистан-Душанбе.

Помнил еще по жизни в высотке на Ленгорах, что из себя представляют «афганские товарищи». Афганские коммунисты лупили своих женщин и заискивали перед нашими, зато особа королевской крови женского пола, также проживавшая в общежитии МГУ, вспомнив под томную музыку гаремные привычки, начала приставать к русской соседке по этажу с лесбийскими требованиями...

А тут прибежал со сборного пункта, расположенного за пару кварталов от нашего уфимского дома, Сашка Банников. Его выперли за пропуски занятий из пединститута и забили, он забежал проститься. В литобъединении при молодежной газете, которым я ведал как завотделом культуры, он был самым талантливым. Похож чистыми обводами скул на молодого Маяковского, он и в стихах был бунтарем. А от меня ждал, возможно, подсказки – как принимать или не принимать на себя чужую войну? Что я мог ему сказать про присягу? Это про Мандельштама и Хлебникова – легко, это про неточные ассонансы – пожалуйста, но невозможным казалось лезть в судьбу человека, приехавшего в большой город из таежного Караидельского района, лезть со своими умозрительными вариантами, не имея за душой ничего позитивного, что можно было бы предложить взамен маячивших обязательных репрессий.

Зато он писал мне потом из Шинданда правду – и в стихах, и в письмах. Про ключья грудных желез санитарки, ехавшей рядом на броне и получившей в спину первую пулю из засады. Про наркотики – не прямо, но понятно. Про бессмысленность и беспощадность русской «маленькой войны на Востоке» – между строк. Сашка выжил, только получил гепатит, а потом и диабет, которые, поддерживаемые алкоголем, свели его в могилу в тридцать пять лет. Удалось опубликовать несколько его сборников и подборок в прессе. Не удалось остановить саморазрушение, преградой не стали ни дети, ни разговоры. После первого стакана портвейна он становился неуправляемым – и все говорил про войну.

4

По правде говоря, я и сам до того долго волновался относительно необходимости принимать присягу. Может быть, скрывал за внутренним диалогом по этому поводу страх перед армией, перед тогда уже известной дедовщиной, перед необходимостью кому-то подчиняться, кто будет грубее и проще тебя, страх перед возможным насилием над тобой – и возможным твоим участием в насилии. А может быть, и вправду не желал терять нащупанное твердое основание под ногами – недоверие к государству. Тянул с армией долго, получив до окончания заочного журфака временный «белый билет», ради чего пришлось даже полежать в неврологическом отделении и, будучи там самым здоровым, выносить трупы бедных старушек, умерших от инсульта. И принял присягу уже в 25 лет, согласившись признать не лишенными основания собственные теоретические рассуждения о том, что у нас с государством сейчас общие враги – маоисты.

Конечно, кроме общечеловеческого ожидания подлянки от власти были и некоторые особенности. «Страха ради иудейска...» – это о страхе оказаться беззащитным чужаком, в том числе – в не знающей пощады толпе полуподростков-полубездельников. Вот друг недавно сказал по поводу романа одной писательницы: «Вечно эти евреи ноют, растравляя былые раны. Всех могли убить без повода, всех предавали!» Всех, да не так.

Организованно, тотально, без различий пола, возраста, гражданства, убеждений, ума, нравственности, состояния (в любом смысле) – уничтожали евреев. Нас убивали и бывшие сограждане, и враги построенных не без нашей помощи государств, и ведомые лишь инстинктами полузвери, и полные цивилизованности госслужащие. Между собой они могли воевать насмерть, но смерть евреев не подлежала спорам. Может быть, так же взяли бы и за славян, но их было больше, чем евреев, цыган и сумасшедших, да и убийц, в том числе добровольных, могло не хватить.

Шесть миллионов – и не повторишь чушь о «малом народе», потому что шесть миллионов убитых мирных людей – это больше многих живых народов, это большой город, заполненный мертвыми. На них убийц хватило без атомной бомбы. Кроме того, количество жертв тоже влияет на качество ужаса, который, повысившись, делает жертвами тех, кто избежал прямого насилия. Количество поражает масштабами, масштабы делают заразной возможностью подражания. Победители заражаются от побежденных – это вроде как съесть сердце врага.

Я с детства привык оглядываться по сторонам и прикидывать, как это может быть со мной, с моими родителями. Отсюда, скорее всего, рефлексорное вздрагивание при слове «немец», даже к однокласснику Олегу Биссу опасно приглядывался. Потом, правда, почти сознательно я это преодолел, стал видеть в немцах тоже гонимых (по крайней мере, в советской жизни), недаром во дворе никто не хотел, играя в войну, быть немцем. Осталось только инстинктивное недоверие к языку. Это потом дети бывших советских солдат начали очаровываться эсэсовской формой и прямым путем к наведению порядка.

Впрочем, и не удивительно. Интернационализм советских людей опровергался советской же практикой, помню, как разжигалась ненависть к Западу, к его конкретным жителям. Стреляло все – от карикатур Ефимова и Кукрыниксов до дворового фольклора: «Один американец засунул в ж... палец...». Когда после праздника интернационализма – Московского фестиваля молодежи, откуда отец привез такие красивые значки, я решил подружиться со встреченным на улице индийцем-практикантом с нефтезавода, мать решительно запретила мне приводить его домой, хотя я ей и рассказывал про «Хинди-руси – бхай-бхай». Вдруг за это отца с работы погонят. А отец продолжал приносить в дом значки, выпрошенные для больного сына у спортивных и культурных делегаций, время от времени попадавших в Уфу. Значки копились в жестяной коробке из-под башкирского меда и материально свидетельствовали о наличии большого мира. По крайней мере – стран сорока.

Нет, не от немцев слышал я слова: «Мало вас Гитлер!..», и поэтому тянулся к государственной силе, так долго и яростно доказывавшей свое преодоление Гитлера. Однако воспитанное послевоенным обществом детское отношение к государству как к чему-то теплomu, светлomu и мощному, начало портиться еще в пубертатном периоде – после слухов о Новочеркасском расстреле, после многочасовых очередей за хлебом и молоком и многочасовых речей Хрущева. И на свое родное государство я распространил тот ужас перед машиной насилия, то отвращение к лицемерию, которые ощущал при мысли о фашизме. При этом к самим коммунистическим идеям поначалу это никак не относилось. Выражением тоталитарного извращения коммунизма казались мне маоисты.

Все соединилось в моей голове, сплывало в одно году примерно в 1967: гитлеровские концлагеря – и ГУЛАГ, антисемитизм государственной доктрины Германии – и государственной практики СССР, процессы над Бродским, над Синявским и Даниэлем, над последующими правозащитниками – и выкашивание интеллигенции в Китае. Я уже не спорил с доводами о правоте тех или иных репрессий – любое отношение к человеческой жизни, как к чему-то неизмеримо меньшему, чем цели и задачи государства, я автоматически относил к себе. И вздрагивал.

Страх преодолевается шагом навстречу. Осень, холодный сентябрь, длинная струйка делегаций к дверям студенческого ДК на Герцена, сочающаяся сквозь оцепление. Панихида по Эренбургу. Его живое лицо я видел несколько месяцев назад в Уфе, еще недавно мы с моим уфимским другом Сашей Касымовым стояли перед его дверью в доме на московской улице Горького, не решаясь воспользоваться радушным приглашением, полученным в Уфе. А теперь он лежит в лодке гроба, и верхняя губа чуть приподнята – как будто только что вынул изо рта трубку. В Уфе на вопрос о вреде курения он ответил: «Жизнь сокращают неприятности, а курить по крайней мере приятно». Сократили...

Это через пару месяцев я прочитал в «самиздате» Мандельштама и соотнес с недавно напечатанным Солженицыным и звучащим с магнитофонной пленки ревом «Не нужно думать, с нами тот, кто все за нас решит...», а в Уфе о противостоянии человека культуры и никогда не сомневающегося механизма я не знал ничего ярче эренбургских мемуаров. Закончилась длинная шахматная партия Ильи Григорьевича с большевиками, кажется – его победой. Он шагнул к ним «черными» – и внес в умы миллионов читателей, доступные лишь официальной пропаганде и ее «глушилкам», долю сомнения, смятения.

От факультета на панихиду разрешили пройти представителям нашего курса – очевидно, посчитали несмышлениками. Рядом с провинциально-смутными комсомольцами, читавшими из Эренбурга лишь «Бурю», к гробу шли Вера Кондратович – дочка тогда уже гонимого зама Твардовского по «Новому миру», Таня Бек – тогда просто дочка настоящего писателя Александра Бека, а потом – настоящий поэт с настоящей трагической судьбой. Пока наша маленькая стайка двигалась в длинной очереди по лестницам ДК и по залу, мы заметили, что от стоящих поодаль крепких молодых людей отделяются «сопровождающие» и вместе с толпой проходят

последние метры вокруг гроба. А потом снова возвращаются к своим и вновь пускаются по периметру – как вохры вдоль «колючки». Слушают, с чем пришли на панихиду и с чем уходят с нее поднадзорные...

После этого учеба журналистике казалась мне чем-то несерьезным, школьным. Писать не научат, я думал, что за два года нештатной работы в «молодежке» и на телевидении уже научился большему, чем мои преподаватели. Так же думали и мои товарищи по комнате в третьем корпусе на Ломоносовском, с которыми мы выпускали ежедневную стенгазету «Шуга кокупа» (Шуков, Гальперин, Косихин, Кузьмищев, Пахно), что переводилось на русский как «За учебу!». После начала сессии газета стала называться «Пакушу гако», что уже означало «Учебу за»...

Я учился писать стихи. И торопился шагнуть навстречу страху перед репрессиями: «Арестуйте меня, арестуйте...». Арестовывать никто не спешил, хотя цикл стихов об Иисусе я читал в ту осень и зиму многим. Не до меня, не до нас, как ни растревляли мы себя разговорами о прослушках в общежитии и придириках преподавателя истории КПСС, как ни старались отнестись к срыванию нашей стенгазеты и выговору к репрессиям.

К февралю 68-го я и вовсе перестал ходить на занятия, имея за сессию три пятерки и несданный зачет по английскому. Валялся на койке и перебирал любовные коллизии. В первый раз подал заявление о переводе на заочный еще в ноябре, сказали подойти после сессии. Подал и после сессии. Примчалась из Уфы мать – спасать, хотели отчислить напроочь. Я не хотел остаться без прикрытия вуза – боялся армии. Пошел на разговор к Засурскому. Ясен Николаевич укоризненно говорил о прогулах, а сам чего-то писал на бумажке. Договорились о переводе. Он повернул бумажку ко мне своей стороной, на ней всего три буквы: «КГБ». Предупредил. Так что, может не зря мы судачили о том, что кому-то не нравимся. Кстати, из большой компании учредителей и авторов «Шуги кокупы» на очном отделении к четвертому курсу почти никого и не осталось.

Весной я уехал в Уфу – устраиваться на работу. Сочувственно следил за тем, как в Чехословакии заговорили о социализме с человеческим лицом, как во Франции начались бунты молодежи. Вроде бы против буржуазного порядка – но ведь против государства! На парижских баррикадах засветился Хасан – наш однокурсник из Алжира, оказавшийся руководителем подпольного алжирского комсомола с совсем другим именем. А в «Шуге» он писал очень смешные заметки, пародировавшие претензии африканских лидеров на социализм и вообще – на самостоятельную значимость. К маю на факультетских собраниях иностранных студентов зазвучали кричалки «Мао, Мао, Мао! Че, Че, Че! Хо, Хо, Хо!», смешило, что на этих собраниях отличался мой эквадорский одноклассник Марьяно Сталин Замбрано, сын владельца единственного у них в стране телеканала.

Усталый тоталитаризм наступающей эпохи казался мне тем же мещанством, протестуя против которого, жгли машины парижане. Настораживала опереточность, отсветом исходившая от бунтарей с факультета. Хотелось чего-то очистительного – но радость хунвейбинов, пляшущих под ядерным грибом, нравилась не больше, чем зажавшиеся партийные бонзы, которых непроизносимые идейные хулиганы до этого столь же радостно унижали. Поэтому чешский вариант выглядел наиболее близким. Мягким способом разобраться со своим отношением к государству.

К лету, пару месяцев промаявшись от безделья в госконторе «Башнефть», я приехал на сессию. А поскольку учебный план заочников отставал от темпов дневного отделения, то сдавать мне после успешной зимней сессии на дневном было почти что и нечего. Что позволяло бесконфликтно заняться личной жизнью, в результате чего я женился и тут же уехал устраиваться на работу поближе к Москве и молодой жене – в тульский «Молодой коммунар», куда меня пристраивал Вовка Кузьмищев.

В ночь на 22 августа 1968 года мне не давал спать гул тульского военного аэродрома, у забора которого притулился домишко, где я устроился на ночлег. На рассвете следил за садящимися гигантскими транспортом дивизии ВДВ, а часов в 11 на крыльце редакции «Молодого коммунара» встретил пьяного капитана-летчика, вернувшегося из Праги. Надежды на мягкий вариант оказались разбитыми.

Я рванул на электричке в Москву и увидел, как Любу и Вовку пытались заставить написать отклики на «оказание интернациональной помощи». Они работали в сезонной газете «Студенческий меридиан», в конце августа выходил ее последний номер, и не откликнуться на главное событие сезона газета не могла, хотя была лишь стройотрядовским приложением к «Московскому комсомольцу». Пока мы растерянно обсуждали задание, подошел Володя Миловидов – пожилой тридцатилетний фотограф, дававший нам читать «самиздат». Он сказал ребятам: «Не трепыхайтесь! Вам еще надо учиться и потом где-то работать. Я сам соберу отклики». Он потом работал израильским корреспондентом «Голоса Америки».

В последнем номере «Студенческого меридиана» выходила полоса стихов двух авторов – Вани Жданова и мои. Цензура, взбодренная главным событием сезона, полезла и в стихи. Мои, понятные, убрали целиком – если что казалось подозрительным. У Вани убрали по строчкам – про которые думали, что поняли. Например: «Мне двадцать лет, но мне не ясен один вопрос, хоть падай ниц: как два кузнечика дубасят по перепонкам всех столиц?»

Ваня писал до 22 августа, а я – через пару дней после всех этих событий написал:

*Гранит границ
расплавлен гулом летным
и авиадесантные войска,
лазоревоберетная пехота,
тяжелой тучей
топчут
небеса.
Рассвет растерянный растет
над горизонтом,
обычностью обманывая всех.
Повтор истории –
опять режут бизоны,
опять раскрашена свобода
под орех.
Под траками подрагивают камни,
под самолетами провисли небеса...
Повторность звуков
уши улиц ранит,
чеканность шага
мучает глаза.
Все повторяется!
Трескуче-монотонно
режут моторы по чужой стране...
Колонны храмов —
пятая колонна?
Колонки догм —
соратники измен?
Звезда
крестовый повторяет опыт —
дробя других,*

*спокойны за себя,
проходят танки
улицей Европы.
Угаром Азии
их дизели
смердят.*

Читал всем подряд, нарываясь и дрожа – как же не прочесть написанное?! А рукопись, нацарапанную в горячке на обороте какого-то полукартонного конверта, потом долгие годы прятал вместе с папиросными листками «самиздатских» писем Сахарова.

Как ни дрожал – не арестовали. Спустя несколько месяцев уже опять в Уфе пригласили на беседу через соседа по дому, оказался в спецномере гостиницы «Агидель». Уговаривали стать сотрудником КГБ, обещали, что буду вместе со спортсменами ездить за рубеж и там охранять их от происков натовских разведок.

Двойной соблазн: на футбол и хоккей мы даже с Любой ходили. Сразу представил себя у бортика, рядом со скамейкой, на деревянном помосте, по которому стучат коньки. Да еще и за границей! В то время туда пускали только делегации (как на панихиду оппозиционера). И вот я где-нибудь в Вене, там прошел такой яркий чемпионат мира...

Пустая комната, два настойчивых голоса. Думаю, просто вербовали в стукачи. В подтексте было: мы знаем о твоих грешках, но простим, если... Я отказался. Не помню, как отговорился, кажется тем, что собираюсь большую часть времени проводить в Москве. А в Уфе распространился слух, что меня выгнали с факультета из-за сочувствия польским студенческим беспорядкам. С хоккеистами я, правда, потом поездил – на матчи союзного чемпионата, передавал по телефону репортажи. И в Вену попал – через двадцать пять лет, расследуя дела преемников моих собеседников в номере (без номера на двери) на третьем этаже гостиницы «Агидель». Это была моя первая заграничная поездка. При советской власти меня не пустили даже в Болгарию, Венгрию или Вьетнам. Могли после долгих боев отпустить в Израиль. Но уже без обратного билета, навсегда, как тогда казалось. А я этого не хотел.

Было душно, но не страшно. Страх перед «органами» поддерживался не текущей жизнью, в которой случались разговоры с крепкими молодыми людьми, интересовавшимися, откуда в моей записной книжке телефоны Аграновского или Вознесенского. И не признаниями товарищей, которых спрашивали обо мне. Один честно и прямо сказал, что ему посоветовали со мной подружиться, и рассудительно стал меня уговаривать: ведь лучше будет, если я буду знать, что именно обо мне «фиксируется». Другой признался, что подтвердил компетентным товарищам мое отрицательное отношение к чехословацкой эпопее, а на мой вопрос: «Как же так?!» – ответил: «Но ведь это правда!». Это все только бодрило. А страх был не связанный с конкретикой – апокалиптический, подкорковый, отложенный, сформированный сновиденческими образами и холокоста (толпа голых женщин перед рвом и пулеметчики), и костоломов ГУЛАГа.

Он перешел в брезгливую ненависть после армии. Через месяц после возвращения на работу в молодежку, куда меня взяли только после того, как редактор пообещал идеологическому секретарю обкома партии выгнать паршивца при первых признаках нелояльности, меня вызвали на допрос. И напомнили, что на дипломе я жил в комнате с неким восточным студентом. У них есть записи моих споров с ним по поводу Мао, они думают, что я занял позицию настоящего советского гражданина, и не сомневаются, что я соглашусь дать письменные показания по поводу вербовки меня иностранной разведкой, сотрудником которой, по версии органов, оказался мой сосед по комнате.

Я начал отказываться. Меня никто не вербовал, мы вели сугубо интеллигентские споры на философские, политические и экономические темы. Тогда встали те двое, что уже два часа сочувственно слушали меня, и сели двое следующих. Все сначала, все по кругу. Я сказал, что

мне велено после работы забирать старшую дочку от няни. Меня посадили в черную «Волгу» с антеннами и затемненными стеклами (в 1976 году это было круто). Отвезли сначала к няне, потом вместе с дочкой – через двор – домой, на расспросы родителей и жены я не мог ничего говорить, сел опять в машину и меня повезли назад – на улицу Коммунистическую.

Там ждала уже следующая пара – и по кругу. А потом добавился неотразимый аргумент: «У вас маленькие дочки, а ведь с ними всякое может случиться...» Лизе было два с половиной, Маше – полгода. Тон угроз был серьезный, моему приятелю Мухаммеду, который был далеко в Пакистане, мои показания в любом случае не могли ничем повредить. У них ведь все равно была полная прослушка, они цитировали дословно!

Я не написал, что он меня вербовал, я написал, что в спорах мы занимали разные позиции. Но все равно оставил свой след на их паршивой бумаге! Это насилие, их угрозы Лизе и Маше, даже абсолютно никакой необходимостью не вызванные, несоответствие средств и задач, усилий и результата превратили страх и дрожь в отвращение и презрение.

О, как я ликовал зимой 90-го года, когда пятитысячная колонна запрещенной демонстрации, идущая по улице Ленина мимо нового здания КГБ, вслед моему срывающемуся крику безо всякой команды выдохнула единой пятитысячной глоткой: «Долой КГБ!». Но это уже другая история. О переходе к активным действиям.

5

Правду сказать, не менее остро, чем социальные и онтологические вопросы бытия, меня волновали отношения с противоположным полом. До сих пор осталась привычка (побуждение?) вглядываться в любое женское существо. И не только из подсознательно-практических соображений: подойдет или нет? – но и с некоторым испугом: чего ожидать? Что не мешает общей благожелательной направленности, как и напряженному ожиданию коварства. Страх и страсть – один корень, их сочетание – привычная сложность. Однако здесь и другой комплекс – смешение меняющихся побудительных (или запретительных) мотивов.

Помню глухое возмущение от посещения женской бани. Поскольку мама вряд ли стала бы брать с собой пацана-шестилетку, скорее всего, мне не было и пяти. После налитой, твердой от мороза зимней улицы распаренные округлости и мохнатости вызывали ощущение какой-то неряшливости. Хотя скорее всего, волновали отличия от привычного – собственного тела, а сопротивление увиденному было вызвано желанием почувствовать, что я-то другой, настоящий, лучший. Не уверен, что я четко высказывал недовольство этим культпоходом в баню, но помню, что больше на женскую половину мыльной или парной меня не брали.

Совсем несмышленьшем меня строили в кружок юных эксгибиционистов соседские сестрички, я уже писал об этом конфузе. Но тогда в Киеве меня повела с собой компания двух пацанов постарше и одной девчонки, мне (как и ей) уже было больше шести. Мы шли к днепровскому берегу от бабушкиной коммуналки через заброшенный сад неведомого мне монастыря, убегали от сторожа, трясясь вместе с яблоками, засунутыми в майку, за пазуху. Остановились у глинистой кручи, там была пещерка – то ли вымытая дождями, то ли расковыренная пацанами.

В ней старший, двенадцати– примерно летний парень велел девочке показать, что у нее под трусиками. Я посмотрел – из вежливости, в свою не первую очередь, большого впечатления не получил. Затем он показал, что у него под одеждой – я удивился длине и общему виду, не совпадавшими с моим детсадовским опытом. А потом я совершил первый осознанно целомудренный поступок в жизни – отказался в свой наступивший черед показывать, что в трусах у меня. Твердо могу сказать, что не убоялся сравнений и девочкиного лукавого любопытства – просто не хотел прилюдно раздеваться. Хотя это было и нечестно – они-то раздевались, но

я был упрям. Хорошо еще, что в те идиллические времена даже в голове у двенадцатилетнего оболтуса не было обязательного маячка насилия. И девочку, по крайней мере – при мне, не тронули, и я ушел без подзатыльника.

Потом до трусиков долгое время дело не доходило, всё как-то руки не доходили. Общение с женским полом, включая дружбы и влюбленности, шло отдельно, анатомические наблюдения – отдельно. Тем более что багаж личных впечатлений бледнел перед колоритными листами из дедовой папки репродукций собрания Дрезденской галереи. Несмотря на то, что самую яркую из них – «Венеру» Джорджоне – дед вынул из папки и держал при себе, чем вызывал пристрастные комментарии своей невестки – моей матери, для учащения пульса мне хватало и других живописных работ.

Отдельно я любовался светлорусой косой Гали, отдельно – следовал наблюдениям товарищей за тем, как девочка трётся фартучком об угол парты. Говорил ребятам о своей привязанности к голубоглазой однокласснице и с ними же обсуждал излишне кокетливое поведение ее вертлявой подружки, обсуждал в выражениях достаточно грубых, хотя и имевших фантастическое отношение к женской психофизиологии. Другая, пухленькая девочка, приносившая в наш пятый класс из дома запах, видимо, лаванды, волновала не только намечавшимися округлостями и фамилией Теплова, но и этим полувзрослым запахом. Может быть, она просто обильно потела, как все полные, и лавандой хотела перешибить пот, но в результате сильнее привлекала внимание к своему телу.

Запала в воображение ситуация из любимой фантастики: где-то как-то люди оказались маленькой группкой, для выживания необходимо продолжение рода, случайная компания вынуждена разбиваться на пары. Эту ситуацию потом часто мысленно проигрывал в разных сочетаниях. Думаю, привлекала обязательность выбора, не оставляющая женскому полу возможности увильнуть.

К моим тринадцати годам мы очень удачно переехали в отдельную квартиру (первую в моей жизни) на улицу 8 марта, в моем восприятии название не имело отношения к женскому полу, зато имелся балкон на третьем этаже. Не слишком высоко – в самый раз, чтобы заглядывать за вырез платья. Не то, чтобы это занятие заставило сразу меня забыть Галю, которая осталась в Черниковке, километров за двадцать от нового дома, но я вполне рационально стал сверху выглядывать симпатичных сверстниц среди вновь обретенных соседок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.